



## **А. В. АМФИТЕАТРОВ**

**Михаил Евграфович Салтыков**  
**(26 января 1826 г. — 27 апреля 1889 г.)**

### **1**

В области русского художественно-литературного творчества XIX века Михаил Евграфович Салтыков является не только одною из самых крупных и ценных величин, не только одною из самых оригинальных и интересных фигур, но даже, может быть, самую оригинальную и, по одинокой исключительности своей, наиболее интересную. Нельзя сказать того же об его личной биографии, мало раскрытой и еще слабее изученной, поскольку возможно проникновение во внутреннюю жизнь его, и очень небогатой, даже бледной в смысле внешних событий, занимательно бросающихся в глаза читателю, определяя собою, так сказать, роман писательской жизни.

За Салтыковым нет ни бурных походов и трагических дуэлей Пушкина и Лермонтова, ни рокового религиозного умопомешательства Гоголя, ни каторги Достоевского, ни подневольной солдатчины Полежаева и Шевченко. Правда, его юные годы ознаменовались административною ссылкой — такую же, какую претерпел А. И. Герцен; и даже в тот же самый город — в Вятку. Но какая же разница между этими двумя ссылками. Герцен превратил тоску своего изгнания в увлекательный живой роман, полный красивых личных переживаний и настроений, — роман, которому мы обязаны прекрасными главами «Былого и дум»; изящными и эффектными страницами личных записок и дневников Герцена и влюбленной переписки его с своей прелестной невестой; наконец, обязаны даже целым написанным романом «Кто виноват», положившим начало русской публицистической беллетристике, однако и по существу, и по форме своей произведением еще почти романтическим. Салтыков отбывал свою ссылку в порядке безусловной заурядности: тянул служебную лямку добросовестным и честным чиновником, хотя поневоле, однако не токмо за страх, но и за совесть, — именно, как надлежало

обыкновеннейшему «надворному советнику Щедрину», под псевдонимом которого он, вскоре после ссылки, выступил и прославился в литературе. Герцен в Вятке поэтически и философски вглядывался в самого себя и вывез из ссылки многозначительную позу Бельтова, глубокомысленные зачатки теории доктора Круппова и чисто шиллеровскую мечту об этой своей удивительной, далекой Наташе, которая, вскоре затем, сделалась его женою, — тоже в весьма романическом порядке, с бегством от своей воспитательницы и тайною свадьбою. Ничего подобного не являет нам ссылка Салтыкова. Он прозаически служил, прозаически получал повышения по службе, командировки, особые поручения, писал доклады, отношения; вел дознания и следствия, отличался во всем этом особою исполнительностью, и, для заключения прозы, женился, как обыкновеннейший смертный и спокойнейший обыватель, на дочери вятского вице-губернатора, своего прямого начальника по службе. И в творческой наблюдательности то же: одаренный способностью к ней в еще большей мере, чем Герцен, но отнюдь не философ и не поэт, Салтыков обратил ее не на себя самого, а на окружающий мелкий мирок. И вот, — гениальным перерождением в «надворного советника Щедрина» сумев поставить себя на место типичного провинциального бюрократа тогдашней новой формации, — он счастливо вывез из Вятки эту грозную исповедь российской обывательщины, которой имя, бессмертное в истории русской общественности, — «Губернские очерки».

Да, обыкновенна и несложна была частная жизнь М. Е. Салтыкова — настолько, что биография его походит на служебный формуляр, но именно на фоне этой-то обыкновенности и получила особую силу и выразительность ужасная правда его сатиры. В ее рисунке и красках Салтыков никогда не боялся самых, казалось бы, фантастических и невероятных допущений и преувеличений; однако все они были рано или поздно плачевно оправданы и даже посрамлены бесконечно изобретательностью печальной русской жизни... Не сосчитать случаев, когда Салтыков, и сам-то воображая быть сатириком и гиперболистом, оказывался только бытописателем русского общества, или, что еще грустнее, пророком его будущего в дальнейших поколениях.

## 2

Родился этот «необыкновенно обыкновенный» человек и писатель 15 января 1826 года, — стало быть, ровно через месяц после петербургского восстания 14 декабря 1825 года, — в глухом захолустье

Тверской губернии, Калязинского уезда, в селе Спас-Угол, вотчине столбовых дворян Салтыковых, рода старинного и знатного, но в этой ветви своей захудалого и значительно одичавшего. Отца писателя звали — Евграф Васильевич, мать — Ольга Михайловна.

Детство русских писателей дворянского периода нашло много изобразителей, причем большинство из них обращалось к заре своей жизни с видимым удовольствием — воспоминаниями самыми благодарными: «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова, «Детство и отрочество» Л. Н. Толстого, детство Паши Вихрова в «Людах сороковых годов» А. Ф. Писемского, «Сон Обломова» в «Обломове» И. А. Гончарова и т. д. — включительно до «Барчуков» Е. Л. Маркова, бывших, кажется, последним цветком этой прекраснодушной литературы. Салтыков внес в нее грозный, беспощадный диссонанс.

По вполне понятным семейным причинам, ему, в старости, не хотелось, чтобы его последний труд, «Пошехонская старина», был понят публикою как замаскированная автобиография. Но по всегдашней искренности и прямоте своего творчества, он не сумел удержать маску на лице «Никанора Затрапезного» и сделал слишком мало для того, чтобы не показать из-под нее своего собственного лица. Настолько, что, например, обстоятельства рождения Никанора Затрапезного изображены в «Пошехонской старине» совершенно тождественно с рассказом Салтыкова в автобиографической своей записке о собственном своем рождении; а еще много ранее этих двух схожих страниц, он написал подобную же третью — в «Господах Головлевых» — рождение Порфирия Владимировича Головлева, пресловутого «Иудушки». Вот этот эпизод «Пошехонской старины»:

«Появление мое на свет обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещение. В это время у нас в доме гостил мещанин-богомол Дмитрий Никоныч Бархатов, которого в уезде считали за прозорливого (Дмитрий Михайлович Курбатов).

Между прочим, и по моему поводу, на вопрос матушки, что у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: “петушок, петушок: востер ноготок!” А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой мед — дело было за чаем, который он пил с медом, потому что сахар скоромный — и, остановившись на седьмой ложке, молвил: “вот теперь в самый раз!” “Так по его и случилось: как раз на седьмой день маменька распросталась”, — рассказывала мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предсказал и будущую судьбу мою, — что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда матушка

бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: “а вот я тебя высеку, супостатов покоритель!”

Тождество между семьею Никанора Затрапезного и семьею Головлевых устанавливается общими именами некоторых действующих лиц («Степки-балбеса», напр.) и, в особенности, точнейшим сходством главной женской фигуры — властной барыни-матери — в обоих произведениях сатирика. А равным образом, показаниями, хотя и очень осторожными, таких близко знавших Михаила Евграфовича лиц, как историк А. Н. Пыпин, публицист К. К. Арсеньев, врач Н. А. Белоголовый и др.

Но каким бы количеством ни измерялась здесь наличность автобиографического элемента, вполне несомненно и ясно, во всяком случае, одно: из своего барского детства это дворянское дитя не вынесло ни единого счастливого и благодарного воспоминания. Родная семья запечатлелась в его памяти отнюдь не трогательной идиллией, но сплошным ужасом, в котором каждый день, каждый час давал предлог к обвинительному акту пред неумолимым судом совести, а иные часы и дни давали предлоги и поводы даже к обвинительным актам и пред уголовным судом человеческим. Братья Головлевы, братья Хмыловы в «Господах Ташкентцах», братья Воловитиновы в «Благонамеренных речах», братья Затрапезные в «Пошехонской старине», с их деспотическими матерями-хозяйками, полоумными отцами, непристойными дедами, кляузными дядьями, проходимками тетками и прочею честною роденькою, — все это — разновидности одних и тех же близко родственных автору фигур. Врезавшись в впечатлительную детскую память будущего сатирика, они мучили его гневными воспоминаниями, которые он время от времени избывал беспощадною казнью этих ненавистных, хоть и кровно близких, призраков — пером на бумаге. «Вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад! — могут сказать мне», — замечает Салтыков в «Пошехонской старине» именно о детстве Никанора Затрапезного, и тут же возражает: «Что описываемое мною похоже на ад — об этом я не спорю; но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мною. Это “пошехонская старина” — и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: с подлинным верно».

### 3

Первым учителем маленького Салтыкова был крепостной дворovýй, по имени Павел, мастерством живописец. Из его рук мальчика приняла старшая сестра, Надежда Евграфовна. Как шло ученье?

Никанор Затрапезный дает о том весьма определенные показания: «Телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали не часто, но колотушки, как более сподручные, сыпались со всех сторон, так что “постылым” совсем житья не было. Я лично рос отдельно от большинства братьев и сестер (старше меня было три брата и четыре сестры, причем между мною и моей предшественницей-сестрой было три года разницы) и потому менее других участвовал в общей оргии битья; но, впрочем, когда и для меня подоспела пора ученья, то, на мое несчастье, приехала вышедшая из института старшая сестра, которая дралась с таким ожесточением, как будто мстила за прежде вытерпенные побои».

Кроме сестры, с мальчиком занимались священник Иван Васильевич, студент духовной академии Салмин и гувернантка Авдотья Петровна Василевская. Если последняя тождественна с «Марьей Андреевной» из «Пошехонской старины», то эту прелестную воспитательницу «даже строгая наша мать называла фурией. Так что все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками».

Крепостной Павел, с этим самым именем изображенный очень подробно в «Пошех. стар.», в трагическом эпизоде «Мавруша-Новоторка», успел научить Салтыкова только читать гражданскую печать: «писать по гражданскому он не разумел; он мог писать лишь полууставом, насколько это требовалось для надписей к образам». А между тем в это время мальчик уже выучился очень бойко «болтать» по-французски и по-немецки, хотя оставался совершенно безграмотным на этих обоих языках. Священник на уроках дозволялся задаванием «от сих до сих», а больше вел с учеником хозяйственные разговоры, сказавшиеся полезными хотя в том отношении, что, благодаря им, Салтыков, уже в раннем детстве, изучил до мельчайших подробностей быт сельского духовенства. Частые и необычайно умелые, всегда остроумно и кстати применяемые цитаты Салтыкова из Священного Писания, чина богослужения и даже святоотческих книг показывают, что он основательно прошел раннюю церковную муштровку. Уроки латинского языка, которые давал ему тот же немудрящий пастырь, Салтыков впоследствии изобразил не только в «Пошех. ст.», но и раньше в «Ташкентцах пригготовительного класса».

Представителей церкви, включая и этого законоучителя, мальчик видел жалких и невежественных, отношение к ним помещиков было гнусное, унижительное. Уважением к духовенству, а чрез него к церкви, к обряду, ко всей религиозной внешности Салтыкову проникнуться было неоткуда. И, напротив, было чрезвычайно легко

усвоить себе глумливый на них взгляд и презрительный о них тон, наполнить свою память кощунственными анекдотами, привыкнуть к пародии русского вероисповедного уклада. Этот налет оставил свой след на многих произведениях Салтыкова. Вера господ Головлевых, Затрапезных, Савельцевых, Деруновых и т. д. не могла быть забронирована от его разрушительного смеха авторитетом внешних слов и форм, за которыми он, уже в детской искренности, не чувствовал даже тени должного внутреннего содержания. В его картинах духовного быта нет любви и участия. Даже когда справедливость и человечность заставляют его жалеть какого-нибудь горемычного священника, причетника, семинариста, Салтыков не более как снисходит своим участием — именно «по человечеству» — к существу именно «жалкому». Что же касается той сытой и хищной части духовенства, из которой Победоносцев впоследствии так успешно выработал царскую жандармерию в рясах, — тут Михаил Евграфович, понятно, не мог иметь иных чувств, кроме открыто и деятельно враждебных. Властный всероссийский тройственный союз «попа, кулака и станового» замечен был будущим автором «Убежища Монрепо» еще в младенческих годах и навсегда отравил его ум подозрительными предубеждениями и пренебрежительным недоверием к классу, стольких представителей которого он видел купцами у престола Вышнего Бога и полицейскими при совершении таинств.

Таким образом единственным истинно религиозным лучом, проникшим в душу дико возраставшего ребенка, оказалось самостоятельно прочитанное Евангелие. Зато и впечатление от него было «потрясающее», — по точному выражению Никанора Затрапезного. «Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тех совсем новых образах, которые вереницами проходили перед моим умственным взором, — все это было в порядке вещей, но в то же время играло второстепенную роль. Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. Я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право этого сознания я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им кроме оков. То “свое”,

которое внезапно заговорило во мне, напомнило мне, что и другие обладают таким же равносильным “своим”. И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ.

Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания».

Огромное чувство любви и благодарности к Евангелию М. Е. Салтыков сохранил на всю свою жизнь и не имел ложного стыда явно обнаруживать эту привязанность свою в эпохе и среде молодого русского воинствующего материализма, которые с религиозностью усердно боролись и смущались всяким ее проявлением, как смертным грехом против цивилизации и прогресса. Особенно ярко сказывается глубоко прочувствованное отношение Салтыкова к евангельскому образу Христа в многочисленных страницах, отражающих впечатления дней и служений Страстной недели. Замечательнейшею из таких страниц надо отметить потрясающий конец «Господ Головлевых» — когда, под впечатлением всеобщей Чистого Четверга, с чтением двенадцати евангелий, раскрывается и тает замкнутое и замерзлое сердце одичалого «Иудушки»... Выше приходилось уже отмечать, что Салтыков нисколько не стеснялся вносить автобиографические черты в рассказы о детстве и воспитании даже таких отрицательных героев своих, как «Иудушка» Головлев или «палач» Хмылов... В «Пошехонской старине» он, устами Никанора Затрапезного, ясно и с твердою определенностью говорит, что, если чудовищное домашнее воспитание, аппаратом которого вырабатывались «Иудушки» и «палачи», не превратило и его в подобного же, то спасительною причиною тому явилось именно Евангелие.

Но какой же могучий природный материал нравственного самознания должен был таиться и дремать в этой детской душе для того, чтобы она собственной ощупью дошла, среди всеобщей кривды и тьмы, до источника своей правды и так полно и целительно приняла в себя ее победный свет! Никанор Затрапезный как бы извиняется, что единственным — «главным существенным результатом, вынесенным из попыток самообучения», которым он, ребенок, «предавался в течение года», было «признание человеческого образа там, где,

по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба». Увы, сколько десятков тысяч людей уходит из мира, не добившись такого «единственного результата» в течение всей своей жизни — и даже не путем детского самообучения, а на помочах наистарательнейшей педагогики, во всеоружии наук, искусств и всех культурных средств и пособий!

## 4

Домашний «ад», описанный Никанором Затрапезным, не мог внушить ребенку особенной скорби, когда пришлось ему покинуть родительский очаг для определения в закрытое учебное заведение — главный способ воспитания дворянских детей в те далекие времена. В десятилетнем возрасте Салтыкова отвезли в Москву и поместили в тамошний дворянский институт (1836). Два года спустя, мальчика, — против его собственного желания (он рассчитывал поступить со временем в университет), но по настоянию чересчур экономной и практической матери, — перевели в Петербург, в Царскосельский (Александровский) лицей, с определением на казенный кошт, в качестве ученика, успевшего зарекомендовать себя в московском институте особо отличными успехами. Впоследствии Салтыков юмористически вспоминает о том в «Детях Москвы» («Сборник»): «Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на легкое получение чина титулярного советника) я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург». Дословно такую же мотивировку снабжает он определение в привилегированное учебное заведение «ташкентца пригготовительного класса», Мишеньки Нагорнова.

Нельзя сказать, чтобы лицей оставил в своем подневольном питомце добрые воспоминания. Страницы, посвященные привилегированным учебным заведениям в сатирах Салтыкова, злы и язвительны до беспощадности. В его рекомендациях, это — сплошь рассадники и питомники будущих «ташкентцев» разного калибра и назначения. Блестящий пустоголовый фат аристократ, «охранитель» и, конечно, будущий «помпадур, Коля Персиянов, тупоумный свирепый дикарь «палач» Хмылов, прирожденный прокурор Миша Нагорнов, финансист бюрократ Порфиша Велентьев — все эти «ташкентцы пригготовительного класса» — ученики закрытых учебных заведений, имеющих специальность воспитывать «государственных младенцев». Поступит в «заведение» партикулярный ребенок — сейчас начнут его со всех сторон обшлифовывать и обгосударстливать, — глядишь,

через шесть-семь лет уже выходит настоящий, заправский государственный младенец\*.

«Государственных младенцев» обучали в лицее весьма усердно хорошим манерам и — до сверхсовершенства — иностранным языкам, в особенности французскому, которым так щегольски владел и сам Салтыков, в качестве бывшего подневольного кандидата тоже в «государственные младенцы». Удивительное разнообразие его французской речи не менее находчиво и пестро, чем смелая гибкость и изобретательность речи русской, в которой у него, творца «эзопова языка», нет соперников, по остроумию и меткости выражения. Для французского сенатора Лабулэ, для карикатуры на Гамбетта, для русского аристократа из французских эмигрантов, для модного столичного адвоката, для светской дамы петербургской, для светской дамы провинциальной, для захолустной помещицы, — в каждом случае Салтыков находил свой особенный французский язык, с особыми оттенками своей авторской усмешки. Автор настоящей статьи, живя в Париже, неоднократно показывал французские страницы Салтыкова французским литераторам, и они единодушно изумлялись характеристичной выразительности его фразы. В особенности восхищался О. Мирбо<sup>2</sup>. «Петербургский» французский язык адвоката Тонкачева («Господа Ташкентцы») заставлял его хохотать до упада.

От плачевной будущности «государственного младенца» Салтыкова спасли многие причины — вольные и невольные. По собственному показанию в «Мелочах жизни» (эюд «Счастливец») Салтыков был, так сказать, средний воспитанник; из ученья имел баллы не блестящие, из поведения — и того меньше. «Мои виды на будущее были более посредственные; отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с черным ходом и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, и иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой. Старый дядька, который жил при мне, и тот имел в мелочной лавке пищу более сытную и здоровую».

---

\* «Государственный младенец тем отличается от прочих людей вообще и от людей государственных в особенности, что даже в преклонных летах не может вырасти в меру человека. Вглядитесь в его жизнь и действия — и вам сразу будет ясно, что он совсем не живет и не действует, в реальном значении этих слов, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствует. Или около человека, или около теории, вообще около чего-то такого, что с ним, государственным младенцем, не имеет ничего общего»<sup>1</sup>.

Между тем товарищами Салтыкова были, в огромном большинстве, сынки богатых петербургских аристократов и высокопоставленных бюрократов, — юноши, из которых развивались Крутицыны, Персияновы, Толстолобовы, Пьеры Накатниковы и прочие решители российских судеб, впоследствии возведенные в «перл творения» бывшим товарищем по школьной скамье. Не в качестве литературных типов и не псевдонимно, а в живой действительности товарищами Салтыкова по лицу (XIII курс, выпуск 1844 г.) были знаменитый впоследствии дипломат, министр иностранных дел при Александре III, князь А. Б. Лобанов-Ростовский и граф А. П. Бобринский, несметный богач, министр путей сообщения в 1871–74 годах.

В том, что общество «золотой молодежи» не затынуло Салтыкова в свою зыбкую и цепкую тину и не уподобило его какому-нибудь Митеньке Козелкову или Феденьке Кротикову («Помпадурши»), благодарить надо прежде всего, само собою разумеется, его собственный независимый, суровый и не очень-то общительный характер. Но немалую роль тут сыграла, надо полагать, и родительская скарედность, поставившая естественный предел между живущим в обреш казеннокоштным воспитанником и бесшабашным мирком, где швырялись тысячами, смело делали огромные долги под чудовищные проценты, ухаживали за французскими актрисами, кутили в безумно дорогих ресторанах и проводили часы отпуска из «заведения» у какой-нибудь модной камелии. Юный Салтыков далеко не был аскетом. Напротив, по собственному свидетельству, сообщаемому Скабичевским, он в первые годы по окончании лицейского курса отдал дань молодости весьма щедро и рассказывал об этом развеселом периоде своей жизни прекурьюзные анекдоты (отчасти, быть может, отразившиеся в некоторых приключениях героя «Дневника провинциала в Петербурге»). Но развернулся он так, очевидно, в другом обществе, а не в своем лицейском. Чтобы участвовать в «празднике жизни» золотой молодежи на равных правах, он был слишком беден. Чтобы примазываться к ней в качестве благородного приживальщика, покладистого «любимца публики», «души общества», — был слишком горд, умен и самостоятелен.

## 5

Это исключительное, как бы одинокое положение среди богатого товарищества имело ту хорошую сторону, что направило молодого Салтыкова к поискам другого общества, — и рано столкнуло его с передовым литературным кругом сороковых годов. В одном

из тогдашних литературных сходбищ познакомилась с ним, еще совсем юношей, А. Я. Головачева, дочь актера Брянского, впоследствии супруга известного писателя 40–50-х годов, И. И. Панаева (один из отцов русского фельетона) и ближайшая приятельница Н. А. Некрасова. В своих любопытных воспоминаниях («Истор. вестник», 1889, № 11) она описывает Салтыкова угрюмым, нелюдимым молодым человеком, одержимым глубокою гордою застенчивостью: «Я видела его в начале сороковых годов, в доме М. А. Языкова. Он и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры». Улыбка «мрачного лицеиста» считалась чудом. Но словам Языкова, Салтыков ходил к нему, «чтобы посмотреть на литераторов».

В это время он и сам уже ощутил в себе литературное дарование и понемногу пробовал свои силы, как водится смолоду, в стихотворных опытах. Царскосельский лицей некогда, в первом своем выпуске, дал России ее величайшего поэта — А. С. Пушкина. С этого случая повелось, чтобы каждый лицейский выпуск имел своего собственного поэта, как бы кандидата в Пушкины. Биограф Салтыкова, К. К. Арсеньев, перечисляет несколько таких кандидатов, Пушкин в них не повторился, но были очень даровитые люди: поэт Л. А. Мей, литераторы В. Р. Зотов и В. П. Гаевский, государственный деятель эпохи освобождения крестьян, переводчик Мицкевича, Н. П. Семенов. И, наконец, вот, в XIII лицейском выпуске, появилась опять, уже действительно громадная литературная величина, вполне достойная занять место у пушкинского пьедестала — Михаил Евграфович Салтыков.

Достойная, — однако, — никак не стихами своими. Их он начал печатать еще пятнадцатилетним мальчиком (в «Библиотеке для чтения» 1841 г.), но, ещё не достигнув даже двадцатилетнего возраста (1845), уже прекратил упражняться в рифмоделании и — навсегда. Стихи юного Салтыкова, навеянные Лермонтовым и Гейне, были ни очень хороши, ни очень плохи: верный признак, что стихотворец — не поэт. Никто не сознавал этого лучше, чем сам Салтыков. На неценимость со стороны других он не мог жаловаться: его поэзию восхваляли товарищи, печатали лучшие журналы. Однако по выходе из лицея он уже никогда не написал ни одного стихотворения. Мало того, с годами он приобрел решительное отвращение к стихам и в редакции «Отечественных записок» бесцеремонно отваживал от себя начинающих поэтов, которые обращались к нему с своими рифмами:

— Нет, уж это к Алексею Николаевичу\*. Пожалуйста, благоволите к Алексею Николаевичу! — хрипел он, кашляя и отмахиваясь руками.

В своей стихоненависти он договаривался до утверждений, будто стихотворство есть особая форма разврата; что поэт и сумасшедший — едино суть; что посвятить себя поэзии — все равно что дать обет ходить всю жизнь не иначе, как по канату и т. д. В действительности же, по свидетельству К. К. Арсеньева, Салтыков очень любил и умел тонко ценить хорошие стихи и был постоянным судьей новых произведений Некрасова, который чрезвычайно дорожил критикой своего друга и соредактора. И ничем нельзя было так разогорчить и сконфузить Салтыкова в пожилых годах, как — напомнив ему рифмические грехи его юности.

А между тем в лицее он служил музам с усердием, достигавшим даже степени некоторого мученичества. Почему-то стихотворство его очень возмущало и сердило лицейских педагогов. Впоследствии, в «Письмах к тетеньке», Салтыков смешливо припомнил, как поэтические прегрешения засаживали его, бывало, в лицейский карцер: «Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сиживали в этом карцере; а так как обо мне как-то сразу сделалось заранее известным, что я министром не буду, то, натурально, я попадал туда чаще других. И угадайте, за что? — за стихи! В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, все стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: «станьте в угол носом» — я, словно сонный, спрашиваю: «а? что?» Долгое время начальство ничего не понимало, а, может быть, даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконец-таки меня поймали. И с тех пор начали ловить неустанно. Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога — везде их находили. Пробовал я, в виде смягчающего обстоятельства, перелagать в стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймают один раз — в угол носом! поймают в другой — без обеда! поймают в третий — в карцер! Вот, голубушка, с которых пор начался мой литературный мартиролог».

Гонения выучили юношу лукавить стихом, о чем он, с гневною усмешкою, вспоминает в тех же «Письмах к тетеньке»:

«Гнусные голоса диктуют гнусные решения... Представьте себе, милая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи написал! Разумеется, стихи были плохие, но, написав их,

---

\* Поэту Плещееву, соредктору по отделу художественной литературы.

я разом доказал начальству две вещи: во-первых, что карцер пробуждает благородные движения души и, во-вторых, что стиховная немочь не всегда бывает предосудительна. Не помню, как я сам смотрел тогда на свой поступок (вероятно, просто-напросто воспользовался плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня из карцера немедленно». И — с того времени — «у меня (на случай нового заточения в карцер) всегда поздравительные стихи про запас были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получит ли облегчение от недуга — сейчас я возьму лиру и отхватаю по всем по трем... Лови!»

## 6

Из горьких признаний этих очевидно, что нравственная атмосфера в лицее была душная и затхлая. Молодой впечатлительной натуры недолго было в ней загнить. Не в лучшем виде представляется в воспоминаниях Салтыкова и наука лицейская:

«Кроме стихов, составляющих мой личный порок, сажали в карцер еще за ироническое отношение к наставникам и преподавателям. Такого рода преступления были довольно часты, потому что и наставники, и преподаватели были до того изумительные, что нынче таких уж на версту к учебным заведениям не подпускают. Один был взят из придворных певчих и определен воспитателем; другой, немец, не имел носа; третий, француз, имел медаль за взятие в 1814 году Парижа и тем не менее декламировал: “à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!”\*; четвертый, тоже француз, страдал какою-то такою болезнью, что ему было велено спать в вицмундире, не раздеваясь. Профессором российской словесности в высших классах был Петр Петрович Георгиевский, человек удивительно добрый, но в то же время удивительно бездарный. Как на грех, кому-то из воспитанников посчастливилось узнать, что жена Георгиевского называет его ласкательными именами: Пепя, Пепочка, Пепон и т. д. Этого достаточно было, чтоб изданные Георгиевским “Руководства”, пространное и краткое, получили своеобразную кличку: “большое и малое Пепино свинство”. Иначе не называли этих учебников даже солиднейшие из воспитанников, которые впоследствии сделались министрами, сенаторами и посланниками. Профессором всеобщей истории был пресловутый Кайданов, которого “Учебник” начинался словами: “Сие мое сочинение есть извлечение” и т. д. Натурально, эту фразу переложили на музыку с очень непристойным мотивом

---

\* О, как дорого отечество каждому благородному сердцу!<sup>3</sup>

и в рекреационное время любили ее распевать (а в том числе и будущие министры). Но еще более любили петь посвящение бывшему попечителю казанского университета, Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономии Горлова. Разумеется, начальство зорко следило за этими поступками и особенно отличившихся певцов сажало в карцер. Я не говорю, чтоб начальство было неправо, но, с другой стороны, по совести спрашиваю: могли ли молодые и неиспорченные сердца иначе поступать?»

В другом, более раннем своем произведении («Ташкентцы приготовительного класса». Параллель четвертая) Салтыков уже с серьезным, безулыбочным негодованием рассказывает, как читалась у них в лице «коротенькая» политическая экономия: законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных групп, из которых каждая, в свою очередь, представлялась уму в форме детской игры, эластичностью своею напоминающей песню: коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи. Вот, милостивые государи, «спрос»; вот — «предложение»; вот — «кредит» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепет действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обойденными — не было и в помине. Откуда явились и утвердились в жизни все эти хитросплетения, которым присвоилось название законов? правильно ли присвоено это название или неправильно? насколько они могут удовлетворить требованиям справедливости, присущей природе человека? — все это оставалось без разъяснения. Наука — пустой пузырь, с наклеенными на нем бессмысленными этикетками; жизнь — арена, в которой регулятором человеческих действий является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездельничество.

Выйти из такой нелепой и невежественной школы бюрократом-финансистом Порфишею Велентьевым, бездушно велеречивым прокурором Мишею Нагорновым, «помпадуром борьбы» Фединькой Кротиковым, блистательными «ташкентцами действия» вроде Пьера Накатникова и Коли Персиянова, было немудрено — не только натурально, но даже как бы и неизбежно. Но каким чудом мог сохраниться в тисках подобного образования и воспитания свежим и ясным острый ум Салтыкова; как из такого мутного омута удалось ему вынести незапятнанным свое нравственное самосознание и самочувствие; каким образом на подобном болоте умудрилось не разложиться, а, напротив, успело окрепнуть и пустить первые счастливые ростки его молодое литературное дарование, — это, в самом деле, приходится отнести почти что к области загадок природы. К сча-

стью и спасению человечества, она, хотя и редко, снабжает иных избранников своих исключительно могущественным инстинктом противодействия окружающей среде. Хрустальный сосуд может быть наполнен грязью, но грязь не прилипнет к его стенкам, и достаточно легкого прикосновения, чтобы удалить ее и восстановить чистоту хрустала в свойственном ему естественном блеске. Души таких людей, как М. Е. Салтыков, — тоже, в своем роде, хрустальные сосуды.

От гнилой заразы крепостничеством в лоне барской захолустной семьи Салтыкова спасло Евангелие. От гнилой школы — литература и самообразование.

Как ни плох был Царскосельский лицей 30–40-х годов, все же выходили из него не одни Накатниковы да Велентьевы. Были среди его воспитанников обособленные тесные кружки искателей серьезной мысли. Они, рано постигнув печальную истину, что с казенною наукою не сделаешься человеком, пригодным для служения обществу, бесстрашно отвернулись от «Пепиных свинств» и «сега моего сочинения» и самостоятельно взялись за труды французских социологов: книжки запретные, трудно достигавшие царского (да еще при Николае-то Первом!) Петербурга, но тем более заманчивые и обаятельные. По личным воспоминаниям К. К. Арсеньева, лицеистам сороковых годов были хорошо знакомы произведения тогдашних социалистов-утопистов (Фурье, Сен-Симона, Луи Блана), «в других закрытых учебных заведениях того времени едва ли известных даже по имени». Из будущих «петрашевцев», первых деятельных провозвестников социализма в России, получили воспитание в лицее: сам Михаил Васильевич Бутаевич-Петрашевский (1849–1867), Спешнев, Кашкин и Европеус. Первый из них, центральный человек этого мнимого заговора, кончивший курс в 1841 году, только тремя выпусками был старше Салтыкова (1844).

## 7

При выпуске Салтыков обманул надежды родительницы, помещавшей его в лицей с расчетом на «легкое получение чина титулярного советника» (см. выше): вышел не по первому, а по второму разряду, стало быть, не девятым, а десятым классом. Эта неудача обрекла его, как стипендиата, обязанного зачислиться на государственную службу, лямке мелкого петербургского чиновника, которую он и тянул четыре года (с 1844 до 1848) — с превеликим к ней отвращением — в канцелярии военного министра (графа Чернышева). Болото школы сменилось еще худшим болотом канцелярским. Но молодой человек, едва 18 лет,

уже крепко держался за свои спасительные якоря — литературу, политическое самообразование и общество передовой молодежи, с которой он тесно сошелся по редакции «Отечественных записок», открывших свои страницы для его первых прозаических произведений.

Начал Салтыков критическими заметками и рецензиями — преимущественно о детских книгах и сочинениях по вопросам педагогическим. Уже эти короткие деловые статейки носят на себе отпечаток будущего публицистического таланта первой величины. Они, все без исключения, отмечены необычайной твердостью и ясностью основной мысли, смело постановкою убежденного суждения в связи с деловитой практичностью и мастерским умением публицистически заглянуть много дальше прямой своей темы: заставить читателя думать не только о том, что видит он глазами в строках, напечатанных черным по белому, но и уводить свои размышления далеко вглубь между строк.

Редакция «От. зап.» сблизила Салтыкова с молодым критиком Валерианом Майковым\*; в нем уже начинали видеть преемника и продолжателя культурных заветов В. Г. Белинского, но ранняя смерть юноши-писателя, едва развернувшего свое дарование, пресекла эти надежды в первом их расцвете. Рано умер и другой литературный друг Салтыкова, В. А. Милютин, которому посвящена первая повесть Михаила Евграфовича — «Противоречия», напечатанная в ноябрьской книжке «Отечеств. записок» 1847 года. Член высококультурной и передовой семьи «кающихся дворян», брат Николая и Дмитрия Милютиных, сыгравших в скором последствии столь важные и симпатичные роли в либеральных реформах Александра II, В. А. Милютин был по специальности экономистом и социологом и много помог Салтыкову в исправлении и заполнении скудных знаний, которые мог он вынести из лица при посредстве жалкого горловского учебника.

Образ мыслей своего молодого кружка, его симпатии и антипатии Салтыков неоднократно изображал впоследствии автобиографическими отступлениями в своих произведениях. Особенно в позднейшем периоде восьмидесятых годов, когда, обусловленные его старческими недугами, повторные путешествия за границу невольно обращали его мысли к Европе («За рубежом») — и более всего к Франции. Отдавая справедливость внешней германской культуре, самих немцев Салтыков, однако, не любил со всею откровенностью типического великорусса. Франция в его симпатиях, с ранней молодости и до поздней старости, всегда стояла на первом плане, впереди всех других европейских стран и народов. Вот что писал он по этому поводу еще

---

\* Брат знаменитого поэта, Аполлона Николаевича Майкова.

в 1870 году в замечательной XI главе «Признаков времени» («Сила событий»), разбирающейся в вопросе «что такое патриотизм?» — под непосредственным впечатлением разгрома Франции пруссаками:

«Бедная Франция! и на этот раз ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества, — тебя в настоящую минуту каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»!\* И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». Но и за всем тем ты все-таки виновата... Занявшись преследованием мировых задач, ты забыла, что существуют миллионы домашних подробностей, устройство которых обеспечивает жизнь от неожиданностей... Зигмарингенцам и гессенцам, конечно, очень ловко говорить: «мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Эврипида читают, а ваши и азбуке обучались с грехом пополам». Они забывают, что и возможность наслаждаться Эврипидом все-таки до некоторой степени обеспечивается тою же Францией, то есть Парижем. Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж — в Мадрид. Что тогда будет? А вот что: придут паразиты, соберут всех гессенцев и при громе пушек объявят: «Нет вам ни школ, ни университетов, ни Эврипида! живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожа!»

Как выросло в Салтыкове пылкое чувство к Франции, внушившее эти справедливые — горькие и в то же время гордые строки, под которыми не отказался бы подписаться ни один разумный француз-патриот, — наш писатель подробно рассказал в сатирическом дневнике «За рубежом». Любовь его к Франции не была ни слепа, ни пристрастна. Он не был, что называется, галломаном и прекрасно умел выделять плевелы французской культуры из ее пшеницы. Даже и у французских сатириков, не исключая близкого к Салтыкову О. Мирбо, мы найдем мало таких блистательно резких страниц о Второй империи, о республиканской буржуазии, о политиках-оппортунистах семидесятых годов, о тогдашних деятелях, как Гамбетта, Лабулэ, молодой в те времена Клемансо, о порнографической литературе и пр. Но за Парижем и Францией политической минуты Салтыков не переставал видеть прозорливым духовным оком иную «бессмертную» Францию, иной «вечный» Париж:

---

\* Дурачья.

«Не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание.

Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. (См. ниже.) Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое занималось популяризацией положений немецкой философии, а к тому, безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что “золотой век” находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда.

В России, — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге, — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели “образ жизни”. Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для беседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции... Всякий эпизод из общественно-политической жизни Франции затрагивал нас за живое, заставлял и радоваться, и страдать... Мы не могли без сладкого трепета помыслить о “великих принципах 1789 года” и обо всем, что оттуда проистекло. А так как местожительством этих “принципов” предполагается город Париж, то естественно, что симпатии, ощущаемые к принципам, переносились и на него.

Но в особенности эти симпатии обострились около 1848 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались “Историей десятилетия” Луи Блана. Теперь, когда уровень требования значительно понизился, мы говорим: “Нам хоть бы Гизо — и то слава Богу!”; но тогда и Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшанель, и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дубельт), успех которых огорчал, неуспех — радовал... Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимой силою жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь

не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше! И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства. И вот, вслед за возникновением движения во Франции, произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет...»

## 8

Основною причиною высылки Салтыкова была общая правительственная «чистка Петербурга в связи с всполошившею правительство французскою революцией и с назревавшим уже делом петрашевцев», к которому, однако, Салтыков не был привлечен прямо. Его связи с «петрашевцами» были незначительны и поверхностны, — ограничивались тем, что он посещал какой-то подготовительный кружок (из 5–6 человек), где читались разные сочинения Фурье и школы сен-симонистов. Поводом же к высылке послужили его «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848). Появившись в «Отечественных записках», они имели несчастье привлечь к себе внимание непосредственного начальника Салтыкова, военного министра, гр. Чернышева. По поручению последнего, известный литератор-патриот поэт Н. В. Кукольник составил о них доклад или, скорее, политический донос, дав в нем полную волю своей жестокой ненависти к литературе новой «натуральной» школы. А, конечно, повести Салтыкова, при всей своей слабости сравнительно с позднейшим его творчеством, уже указывали в нем ученика Гоголя и сотоварища Достоевского. Влияние обоих ясно сказывается на «Запутанном деле» и на «Брусине» (1849). Но еще более глубокий отпечаток положило на эти начинания увлечение Салтыкова великою французскою писательницею Жорж-Занд — этою «Иоанною д'Арк нашего времени, звездою спасения и пророчицею великого будущего», как определил ее восторженный Белинский, и ему дружно вторила вся передовая русская молодежь. Но в глазах Кукольника и ему подобных Жорж-Занд была ходячим вместилищем всякой безнравственности, как женщина, и всякого злодейства, как политическая и религиозная мыслительница. Доклад Кукольника поступил в специально искоренительный застенок, учрежденный именно

для борьбы с «французскою заразою» сен-симонизма, фурьеризма и жорж-зандизма»; в «негласный комитет» под председательством гр. Бутурлина, — господина, который искренно полагал и громко заявлял, что «следовало бы запретить Евангелие, если бы оно не было уж слишком распространено». Последствия понятны. Мгновенно уволенный со службы, Салтыков был затем, в самом стремительном порядке, выпровожден с жандармом в Вятку (28 апреля 1848 г.) и, — по обычаю тогдашней административной ссылки, — определен там в канцелярские чиновники при губернском правлении.

Н. А. Белоголовый, со слов самого Салтыкова, рассказывает эту историю в несколько ином виде. По его версии, Чернышев, напуганный Бутурлиным, поспешил забежать вперед с доносом на своего опасного служащего в очередном своем министерском докладе государю, и это уже Николай I лично распорядился судьбою Салтыкова. Прочитанная Салтыкову резолюция гласила, что его «за распространение идей, потрясших Европу, следовало бы сдать в солдаты, но, снисходя к носимому им имени и к молодости лет, государь повелеть изволил и т. д., и т. д.»

Когда современный не только послереволюционный, но и предреволюционный читатель просматривает «Противоречия» и «Запутанное дело», то диву дается, за что тут было карать писателя даже в то жестокое и темное время: настолько далеки эти психологические этюды от какой бы то ни было политики. По зеленой незрелости своей они не могли иметь ни успеха, ни влияния, даже в единомышленном дружеском кругу, «Противоречия», напитанные наивнейшим фурьеризмом, Белинский обозвал «бредом куриной души»; насмешливую кличку этой Салтыков воспользовался впоследствии для повестушки-исповеди Менандра Прелестнова («В среде умеренности и аккуратности»)⁴. Но, по всей вероятности, ни Чернышев, ни даже Бутурлин, не говоря уже о Николае I, и не потрудились ознакомиться с «потрясающими Европу» писаниями ужасного преступника, а со спокойною совестью положились на доклад Кукольника. Так что, по существу, выходит, что сослал Салтыкова на семь лет в Вятку свой же брат, писатель, почтенный автор «Торквато Тассо», «Джулио Мости» и — что самое главное, конечно, — сверхпатриотической «Руки Всевышнего», которая «отечество спасла». Примечательно то презрительное равнодушие, которым Салтыков отвечал на политическую мерзость «собрата». Со временем, войдя в силу, сделавшись любимцем всей грамотной России, почти что всемогущим направителем общественного мнения, он мог бы отомстить Кукольнику страшно, а не мстил вовсе. Имя этого поэта изредка упоминается

в его произведениях, но лишь вскользь — ради какой либо наглядной характеристики литературных вкусов сороковых годов (см. цитату выше). Да однажды, в введении к «Господам ташкентцам», Салтыков рассказал о Кукольнике анекдот, весьма ядовитый, если принять его в совокупности со всем введением и убийственно злою книгою, которой он предшествует, но, в собственном своем существе и прямом смысле — без Салтыковского комментария, — пожалуй, даже лестный для выдающихся способностей Кукольника\*.

## 9

О вятском периоде жизни М. Е. Салтыкова было уже сделано несколько общих замечаний в начале очерка. К распространению их мы имеем скудные материалы почти что только в виде послужного списка. В подневольном ссыльном чиновничестве своем Салтыков имел по крайней мере хоть ту удачу, что попал под начальство довольно порядочному человеку, в лице губернатора Середы. Последний, под влиянием рекомендательных писем от Николая Милютина и известного географа Ханыкова, дал Салтыкову быстрый ход по службе, благодаря чему вскоре мы видим Мих. Евгр-ча — из чиновников особых поручений — правителем губернаторской канцелярии, а затем и советником губернского правления, притом обремененным кипучею и разнообразною деятельностью по всевозможным административным поручениям и командировкам.

Салтыков принадлежал к числу тех людей, которые либо во все не берутся за дело, либо, уж раз взялись, делают его хорошо и основательно.

Он не оставил по себе в Вятке памяти особенно бурного протестанта против обычных порядков тогдашней бюрократии, и себе сам впоследствии не приписывал такой эффектной роли ни в «Губернских

---

\* В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо» столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: «Прикажут — завтра же буду акушером».

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость, находится в теснейшей зависимости от «приказаний»... Ради цензурности Салтыков несколько изменил ответ Кукольника. В действительности, тот отвечал еще выразительнее: «прикажет *государь*» и т. д.<sup>5</sup>

очерках», ни в «Невинных рассказах», ни в «Сатирах в прозе» — сборниках, где «надворный советник Щедрин» является еще не только общим типом провинциального чиновника — «аристократа» (см. «Дружеский хлам»), но и просвечивает иногда автобиографическую подкладку. Он просто хорошо служил — как человек интеллигентный, честный, гуманный и, когда чувствовал себя на почве твердой справедливости, то непоколебимо смелый. В «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» К. К. Арсеньев приводит любопытную справку, как Салтыков искусно и сердечно умиротворил земельные беспорядки в одной из волостей Слободского уезда и умел добиться от власти даже такого благого и редкостного результата, что спорная земля осталась, таки за бунтовавшими крестьянами, несмотря на то, что в подобных случаях правительственная практика требовала принципиально отказа в крестьянских домогательствах — без разбора, правильных, нет ли, — просто в возмездие за «бунт».

Таким-то способом петербургский слеток, лицеист, окунулся в народ и узнал тайную жизнь его. Социалист-утопист по французским книжкам встретился практически с «миром», с «общиною», с русским натуральным социализмом, и задумался над их загадками.

«Г. Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру, — писал в 1860 году в журнале “Время” Ф. М. Достоевский<sup>6</sup>, — как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастенькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из “Пальмиры”, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж Занд, и “Отечественные записки”, и г. Панаева, и всех и всех». Много пришлось Салтыкову иметь дела и с гонимой от правительства «старою верою» (см. в «Губ. оч-ках» — «Матушка Марья Кузьмовна», «Старец»). Это была одна из самых тяжелых сторон службы провинциального администратора, если он был склонен, как насмешливо выразился о себе Салтыков (в очерке «Зубаток»), к «диалектике», т. е. не к тупому исполнению начальственных приказаний, а — с рассуждением и взвешиванием вопроса на весах совести. Постыдное и противное служебное испытание это прошли и описали многие литераторы, как подневольной (А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков), так и вольной (В. А. Соллогуб, П. И. Мельников-Печерский) службы. У последнего первоначальная и долгая рьяная ретивость к весьма некрасивому сыску по староверческим делам разрешилась, в конце концов, тем неожиданным результатом, что, по выражению одного архиерея, он «из Павла обратился в Савла»;

представил правительству записку о безусловной бесполезности и даже вредности преследований старой веры и написал два огромные романа «В лесах» и «На горах», где быт старообрядческого Поволжья изображен любовною и уважающею рукою в красоте, быть может, даже несколько преувеличенной. Остальные говорят о своих вынужденных вмешательствах в «раскольничий» замкнутый мир с нескрываемым стыдом и отвращением. Рассказы Салтыкова и здесь выделяются особою правдивостью, простотою и ясностью тона. Для того, чтобы возмутить читателя творимой над староверами мерзостью, он не нуждается ни в выгораживании самого себя на особую позицию приносящего себя в жертву страдального героя, ни в идеализации гонимых староверов, ни даже в преувеличенном зверообразии официальных гонителей. Все люди, все человеки, а дело-то выходит все-таки дьявольское и впечатление получается потрясающее.

В вятской ссылке Салтыкову, понятно, было очень скучно и нудно. Вне службы время убивалось однообразно и пошло, не без картишек, волокитства и зелена вина. Но служба-то, в конце концов, все-таки принесла Мих. Евгр-чу большую воспитательную пользу. Если в его первых петербургских произведениях еще звучат кое-какие намеки на возможность и ему сделаться тоже «лишним человеком» (увекоченный Тургеневым тип бесхарактерно ноющего интеллигента сороковых годов), то в обилии и пестроте занятий, которые взвалила на Салтыкова провинциальная служба, задатки эти исчезли совершенно и бесследно. Не было времени для драпировки в плащ Гамлета. «Скуку-то» Салтыков очень знал (см. набросок под этим заголовком в «Губ. оч.»), но исходила она уже не из отвлеченной «мировой скорби», декламирующей «быть или не быть?» и — «дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Скучало, гневало и искало исхода неудовлетворенное гражданское чувство, сознание и зрелище, что — «вокруг меня мгла и туман: Порфирии Петровичи, Яковы Астафьичи, Федоры Герасимычи жадно простирают ко мне голодные руки и не дают мнедохнуть... Где я, где я, Господи!»... «Когда я ехал в Крутогорск, то мне казалось, что я должен на деле принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества. Думалось мне, что в самой случайности, бросившей меня в этот край, скрывается своего рода предопределение... Юношевские мечты! тщетные мечты! Сколько в них, однако ж, свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины! Что же я сделал, какие подвиги совершил?..»

Вот этот гражданский экзамен очень тревожил Салтыкова, и к нему неотрывно устремлялась поверочная мысль молодого чи-

новника. Наблюдательный и чуткий, он боялся и для себя той лени и апатии, которую видел в встречаемых «Лузгиных», «Корепановых», «Буеракиных» и других «талантливых натурах» («Губ. оч.»), сведенных на нет одурелым застоём «Крутогорской» (т. е. Вятской) глуши...

«Да, — восклицает Салтыков, — жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом; ведь живут же хорошие люди, и живут весело — ну, и сам станешь жить весело.

О, провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!»

Но его то, Салтыкова, связывала с этой провинцией живая, энергичная деятельность, в которой он не мог не чувствовать себя полезным и чрез которую полюбил и самый край, где протекла его семилетняя служба-ссылка. Расставаясь с Крутогорском, он неожиданно — подобно «Шильонскому узнику» — «о тюрьме своей вздохнул».

«Я оставляю Крутогорск окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем, внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце; я чувствую это, и припадаю головой к кибитке, а слезы, невольные слезы, так и бегут, так и льются из глаз. Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, отторгнутый от всего живого ... — “Ужели я в Крутогорске оставил часть самого себя?” — спрашиваю я себя мысленно. Но текущие по щекам слезы, но вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос. Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа! Потому что и бессознательная былинка, и та не живет даром, и та своею жизнью, хоть незаметно, но непременно воздействует на окружающую природу... Ужели же я ниже, ничтожнее этой былинки?»

Таковыми полусомнениями, полупризнаниями звучат заключительные — «вместо эпилога» — страницы «Губ. очерков» («Дорога»). Но последний аккорд введения к той же книге еще выразительнее. Это уже настоящее объяснение в любви, — и притом определенно и понятно, — именно деятельно мотивированное.

«Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу; но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине».

## 10

Именно на эту дорогу «обнаружения зла, лжи и порока» поставило Салтыкова возвращение в Петербург. Обыкновенно «Губернские очерки» Салтыкова слывут начальной эрой русской обличительной литературы. Это не совсем верно. Хронологически их опередили провинциальные наброски П. И. Мельникова-Печерского, несомненно повлиявшие на строение и тон некоторых очерков «надворного советника Щедрина». Но безусловно верно — в смысле оглушительного впечатления и огромного влияния на общество. Тогда еще передовой «Русский вестник» тогда еще либерального М. Н. Каткова неожиданно приобрел в новом, доселе неизвестном сотруднике главную свою силу.

«Помним мы появление г-на Щедрина в “Русском вестнике”, — писал в 1861 году Ф. М. Достоевский. — О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г. Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в “Русском вестнике” прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, — читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались». Другой знаменитый писатель-современник, А. Ф. Писемский, вспоминает в «Взбаламученном море»: «Русский Вестник» уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поживались и почесывались и почти со слезами на глазах говорили: «Ей Богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!» В полудикой среде мелкого провинциального чиновничества и дворянства серьезно уверяли, — по показанию одного позднейшего писателя, — что народился на свете антихрист и уже орудует во образе надворного советника. Зато либеральные верхи общества, слишком хорошо проученного за грехи

прошлого николаевского царствования севастопольским разгромом, единодушно рукоплескали смелому сатирику. И в числе хвалителей оказался даже сам новый царь император Александр II.

С переводом в Петербург Салтыков не бросил службу, но, напротив, — причисленный к министерству внутренних дел, — занялся ею с особенною ревностью. В подготовке наступавшей «эпохи великих реформ» это было необходимо, или, по крайней мере, казалось необходимым в условиях времени. Ведь, ввиду явной капитуляции власти пред освободительными требованиями века, просвещенной бюрократии предстояла лестная роль передового политического класса, насадителя культуры, руководителя общественного прогресса. «Лучше начать революцию сверху, чем дожидаться ее снизу» — после этих слов Александра II каждый либеральный чиновник получил нравственное право смотреть на себя как на желанного «революционера сверху». Над словами этими разочарованный Салтыков горько издевался впоследствии, но смолodu они действовали и на него. Из чиновников по особым поручениям при министре Ланском он вскоре получил назначение вице-губернатором в Рязань. И вот тут-то (1858) Александр II и имел случай выразить свое мнение о Салтыкове: — Я рад этому назначению и желаю, чтобы Салтыков и на службе действовал в том же духе, как он пишет.

Эта высочайшая аттестация оказалась столько же непрочною, как и вся «эпоха великих реформ». Десять лет спустя, тот же самый Александр II нашел литературную деятельность сатирика несовместимую с государственною службою (в чем, собственно говоря, и был прав) и заставил Салтыкова (в то время председателя рязанской казенной палаты) выйти в отставку. Но, в пятидесятых-то годах, авторитет царского одобрения должен был развязать Салтыкову руки не только для обличительного писательства, но и для борьбы служебной с «помпадурами», вроде губернатора-самодура Муравьева<sup>7</sup>. С ним Салтыков сразу стал на ножи и резался неумоимо два года (1858–1860), деятельно отстаивая от этого наследственного деспота (он был сын пресловутого М. Н. Муравьева, впоследствии Виленского) интересы согнутого в бараний рог края. В борьбе этой Салтыков неоднократно повисал на волосок от того, чтобы на скользкой плоскости какой-нибудь несоблюденной или обойденной формальности погубить свою карьеру и быть отданным под суд. Его выручало только великолепное знание своего служебного дела, по которому скорее он мог быть опасен зарывавшемуся Муравьеву, как его постоянный и неумолимый контролер. Сила, однако, была все-таки на стороне Муравьева. В 1860 году, перед Пасхою, Муравьев-отец спросил ми-

нистра Ланского, получит ли его сын какую-нибудь награду к празднику. — О, как же! — отвечал министр, — и большую, — поздравьте его: мы убираем от него Салтыкова в Тверь...

Тверское вице-губернаторство Салтыкова было для него приятнее и спокойнее по житейской и служебной обстановке: смирный и кроткий губернатор (Баранов), либеральное дворянство с предводителем А. М. Унковским, одним из замечательнейших деятелей эпохи «великих реформ», а к тому же и личным другом Михаила Евгр-ча. Но, в общем, как кажется, это довольно бесцветная полоса его жизни — по крайней мере, что касается деятельности служебной. Литературно же он, наоборот, работал в тверские годы свои весьма энергично: тогда написаны почти все очерки, вошедшие в «Невинные рассказы» и в «Сатиры в прозе». И, наконец, в 1862 году Салтыков вообще бросил службу — с тем чтобы всецело посвятить себя литературе.

Намерения этого не удалось ему осуществить в полной мере. Мечта начать свой собственный журнал (двухнедельный) в Москве обманула<sup>8</sup>. Правительственный либерализм выцветал и увядал. Эпоха реформ, выпустив самый крупный свой заряд — освобождение крестьян, утомила власть, успевшую уже струсить перед призраком социализма, хотя еще столь далекого и едва слышного. Идол вчерашнего дня, просвещенная и прогрессивная бюрократия начинала казаться перестаравшейся — подозрительной и опасной. И вот — несмотря на два свои вице-губернаторства — смелый и любимый литератор-обличитель оказался в глазах министерства внутренних дел — т. е. ведомства своей службы — неблагонадежным для издательства собственного журнала. С «Русским вестником» Каткова, решительно повернувшего направо, у Салтыкова давно уже не было ничего общего. Разбрасываться по разным журналам, хотя прогрессивным, но не тесно совпадающим с его направлением, как делал он в 1858–1860 годах, ему надоело и было невыгодно, — как материально, так и морально. Это ослабляло вескость его сатиры. Салтыков любил чувствовать себя в журнале не гостем, а у себя дома.

Год спустя, с переводом в Петербург, он как будто обретает такой постоянный свой дом в «Современнике» Н. А. Некрасова и делается одним из фактических его редакторов. Литературная производительность его в этом году (1863–1864) громадна. Нет книжки «Современника», в которой не нашлось бы 5–6 печатных листов за подписью Н. Щедрина, без подписи или под другими временными псевдонимами (напр., Михаила Змиева-Младенцева). Нельзя не изумляться количеству исполненной им срочной сотрудиической работы — в качестве рецензента-библиографа, театрального критика,

общественного обозревателя, московского корреспондента. Писать ему приходилось все и обо всем — от политических обозрений до гастролей итальянской примадонны, от полемических статей по крестьянскому вопросу до «Анафемы или торжества православия» пр. Быстротокова. Основанный и прославленный Добролюбовым юмористический отдел «Свистка» теперь заполнялся по преимуществу Салтыковым. И в промежутках такой-то напряженной и пестрой работы создавались лучшие сатирические жемчужины «Признаков времени», вынашивались и вызревали «Помпадуры и помпадурши». Ясно, что Салтыков нашел, наконец, свое место, при котором охотно остался бы навсегда.

Центральный человек редакции «Современника» и создатель его публицистического авторитета, Н. Г. Чернышевский, в это время был уже потерян для журнала. Арестованный 12 июля 1862 года, он навсегда скрылся сперва за стенами Петропавловской крепости, потом в «каторжных норах» Кадая и Александровского завода, потом на поселении в Вилуйском остроге. В связи с его арестом, «Современник» в 1862 году безмолвствовал, приостановленный на целые восемь месяцев. Поэтому непосредственных отношений по редакции между Салтыковым и Чернышевским, о которых как будто говорит Н. А. Белоголовый, в 1863 году быть не могло. Если Салтыков «не отрицал, что он много обязан в своем развитии Чернышевскому», то, по всей вероятности, влияние это надо отнести к более раннему времени (Салтыков сотрудничал в «Совр-ке» с 1860 г.) и, главным образом, к литературному восприятию идей автора «Очерков Гоголевского периода», «Эстетических отношений искусства к действительности» и примечаний к «Основаниям политической экономии» Милля.

Умы их были родственны и хорошо сладились. Статья Чернышевского о «Губернских очерках» Щедрина принадлежит к числу лучших в критическом наследии великого публициста. Притом она — весьма исключительно для того времени утилитарной проповеди — едва ли не первая рассмотрела в Салтыкове не обличителя, как хотели ограничить его творческое значение многие другие, но, прежде всего, сильного художника-психолога. Сатирическое его могущество заключается для Чернышевского не в тенденции Салтыкова, но в глубоком понимании им изображаемого человека. А вот отсюда уже и следует та полная вероятность всех его типов и правдоподобие самых, казалось бы, фантастических его допущений, гипербол и аллегорий, которыми так исключительно выделяется Салтыков среди всех русских писателей. В качестве старого фурьериста сороковых годов, Салтыков не мог не чувствовать известного тяготения к Чернышевскому. Ведь для последнего учение Фурье бы-

ло — и осталось в течение всей его жизни — моральным Евангелием нового, чаемого мира, во имя которого и написал он свой роман-мечту, знаменитое «Что делать?» — эту «Сказку о белой Арапии», как, с грустной усмешкой, определял роман Чернышевского «последний романтик» — Аполлон Григорьев<sup>9</sup>.

Добролюбов, когда Салтыков лично приблизился к «Современнику», был давно уже в могиле. Он успел критически осветить только «Губернские очерки» статью, явившуюся в свое время поворотным кругом в его критической деятельности и краеугольным камнем основанной им публицистической критики. Статьи Чернышевского и Добролюбова по заданиям и построению, собственно говоря, полярно противоположны одна другой. Но, вместе взятые, они сливают свою кажущуюся дисгармонию в мощный и выразительный критический аккорд, которым удивительно ярко и выпукло определяется и вся литературная личность Салтыкова, хотя, казалось бы, о ней-то менее всего говорит Добролюбов, и вся его общественно-политическая роль как публициста, хотя, казалось бы, ее почти замалчивает Чернышевский. Что касается критического и чисто литературного влияния Добролюбова на Салтыкова, оно едва ли подлежит сомнениям, а для современников «надворного советника Щедрина» было настолько очевидно, что литературные враги сатирика иногда на том и строили свои нападения, что он «вышел из Добролюбова», «подражает Добролюбову», «перешел из тона Каткова в тон Добролюбова» и пр., и пр.

В действительности же этот мнимо подражательный Добролюбову тон звучал уже в самых ранних литературных опытах Салтыкова — задолго до начала критической деятельности Добролюбова. Еще в юношеских рецензиях и библиографических заметках Салтыков, на страницах «Отеч. зап.», уже направился на тот путь чисто публицистических задач и заговорил тем самым публицистическим языком, утвердить которые в русской журналистике и дать им долгую и мощную власть над литературой и обществом предстояло молодому высокоталантливому критику «Современника». В самой ранней юности Салтыков уже мастер междустрочного публицистического внушения — этой могущественной специальности Добролюбова. Разбирая плохой учебник логики, Салтыков уже умел превратить свою рецензию в прозрачный выпад против крепостного права! Он был не подражателем, а предшественником Добролюбова. За подражание тут принималось естественное сродство боевых натур, логической мысли, направления и остроумия, двух сильных, взаимно сочувственных людей в одной и той же яркой, общественно деятельной эпохе.

И потому-то, когда пришел в литературу Добролюбов, он первый угадал родственным чутьем и разглядел родственными глазами в Салтыкове ту законоположную основу его дарования и направления, которую впоследствии так часто и слепо отвергали в нем разные враждебные или равнодушные и безразличные критики шестидесятых-восьмидесятых годов, подчинявшиеся оптическому обману слов, без проникновения вглубь их мысли. Уже по сравнительно слабым и, конечно, вполне и прежде всего обличительным этюдам «Губернских очерков» Добролюбов понял в Салтыкове отнюдь не того отрицателя ради отрицания, «самооплевателя», русского Мефистофеля от бюрократии и цинического смехотвора, свысока и неразборчиво скалящего зубы на глупость, невежество и бесчестность полудикой страны, которая «черна в судах неправды черной и игом рабства клеймена», каким пытались прокричать молодого писателя совы и нетопыри, испуганные факелом его сатиры. Но — человека, вооруженного могучим народолюбивым идеалом, прогрессиста, патриота — в самом лучшем, святом и возвышенном смысле этого слова, очищенном от всех пошлостей и условных эффектов, которыми оно унижено и загажено в крикливых злоупотреблениях реакционного шарлатанства. Много лет спустя эту тему — о Салтыкове как настоящем, идеальном русском патриоте — подробнее и ярче осветил и развил Н. К. Михайловский<sup>10</sup>. Но, собственно говоря, вся его благоговейная и восторженная характеристика «Щедрина», блистательная по энергии, остроумию и форме, укладывается в эти старые, короткие, серым языком выраженные, добролюбовские строки: — «Все порицание г. Щедрина относится к ничтожному меньшинству нашего народа, которое будет все ничтожнее с распространением народной образованности... *В массе же народа имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью*: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то и защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания». В авторе известных Добролюбову «Маши и Вани», «Странников и богомольцев» уже таились обещания далеких еще «Портного Гришки», «Коняги», «Сна в летнюю ночь» — всех великих салтыковских иллюстраций к «проблеме о мужике», — «человеке, питающемся лебедью»... И современнику и свидетелю их создания, Михайловскому, сорок лет спустя, оставалось лишь подчеркнуть исполнившееся провидение Добролюбова новым своим пророчеством — вещим и убежденным: — Салтыков не забудется, пока не перестанет звучать русская речь.

11

Триумфальное шествие «надворного советника Щедрина» встретило серьезное противодействие со стороны нового критического светила, взошедшего на горизонте шестидесятых годов, Д. И. Писарева. Юный вождь и духовный глава «мыслящих реалистов», неистовый разрушитель эстетики, фанатический проповедник естествознания и «работы над лягушкой», бешеный трибун базаровского отрицания, со всеми уничтожающими словами, договоренными до конца, и с таким же требовательным призывом к последовательному действию, — обрушился на Салтыкова в знаменитых «Цветах невинного юмора». Обличение Щедрина казалось ему жалкою полумерою, бессильным паллиативом, юмор — угождающим публике зубоскальством, лиризм приводил его в негодование, как улика присущей сатирику художественности, т. е. столь ненавистой Писареву «эстетики». «Влияние Щедрина на молодежь может быть только вредно». «Я хочу уничтожить эти симпатии» (молодежи к Щедрину). «Попытка в отрицательном роде (против Щедрина) будет полезнее для нашего поколения, чем самая едкая полемика против г. Каткова». Именно Писарев с особенным усердием и настаивал на зависимости Салтыкова от Добролюбова, которого сам он ставил высоко, почти обожал. «Но естественный, живой и глубоко сознательный скептицизм Добролюбова превратился у его подражателя в пустой знак, в кокарду, которую он пришивает к своим рассказам для того, чтобы сообщить им колорит безукоризненной прогрессивности». В заключение следует решительный совет Щедрину бросить сатиру и заняться пропагандою естествознания. «Пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его умении владеть русским языком, и писать живо и весело, он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить».

По стройности формы, по энергии тона, по остроумию парадоксов «Цветы невинного юмора» — одна из самых блестящих писаревских атак, по результатам — одна из самых неудачных. Щедрин был слишком реально полезен, слишком наглядно и осязательно нужен эпохе гражданского переустройства, которое переживалось Россией шестидесятых годов. Очарованное талантом красноречивого и страстного критика, молодое общество временно уступило Писареву даже низвергнутого им Пушкина, но не согласилось пожертвовать Щедриным. «Цветы невинного юмора» — могучий удар, способный

размножить всякую литературную репутацию, менее прочно стоящую на фундаменте общественности, — упали в пустое пространство. На литературном успехе Салтыкова они не отозвались нимало, а быстрый рост таланта и углубление мысли великого сатирика, с каждым новым его выступлением в печати, слишком решительно опровергали ту надменную насмешку, которая заключается уже в самом заглавии писаревской статьи. Настолько, что теперь, 60 лет спустя, если мы, читая статью Писарева, позабудем об исторической перспективе, она обращается для нас в какую-то непонятно-капризную выходку совсем недобросовестной предвзятости.

В особенности дико звучит теперь это повелительное заключение: «А Глупов надо бросить».

Путем обличительной подготовки, зоркий и внимательный анализатор перерождающейся России, Салтыков, на протяжении всех шестидесятих годов выработывал постепенно и планомерно ту обширную символику сатирического синтеза, которая явится в руках его несокрушимым орудием победы в следующем десятилетии. «Крутогорск» — Вятка переродился в «Глупов» — символ всей хаотической инертной русской провинции, и мы-то теперь, изучая Салтыкова, не нуждаемся ни в каких микроскопах, чтобы разглядеть, что «город Глупов» — первый размах руки, уже готовящей страшный, уничтожающий удар «Истории одного города»... Но даже в условиях исторической перспективы странно, что талантливый и художественно чуткий (вопреки своей борьбе с художественностью) Писарев не угадал этого назревания и хотел остановить на весу руку, поднятую для такого политического удара. Будь жив Добролюбов, не будь заживо похоронен Чернышевский, они-то не проглядели бы.

«Русское слово», орган «мыслящего реализма», нападало на Салтыкова с крайнего лева; с правого крыла, хотя и далеко не самого крайнего, но зато утвержденного на площади совсем иного мирозерцания, — с платформы, так сказать, «чувствующего идеализма», — атаковала Салтыкова «Эпоха», довольно сумбурный и неопределенный орган братьев Достоевских и Н. Н. Страхова (Косицы). До вступления Салтыкова в редакцию «Современника» отношения между ним и Достоевскими не близки, но и не худы. В предшествовавшем «Эпохе» журнале М. М. Достоевского «Время» Салтыков принял участие несколькими статьями, в числе которых попали даже и «Наши глуповские дела». Мы видели, что в первых своих произведениях Салтыков подражал начинаниям Ф. М. Достоевского, в которых, по «Бедным людям», Некрасов, Григорович и Белинский восторженно видели «нового Гоголя». Громадное нравственное здоровье, свойственное Салтыкову,

не позволило ему утвердиться в этом искусственном подражании и весьма быстро вывело его на самостоятельную дорогу. В дальнейших десятилетиях своей литературной деятельности Салтыков стоит от Достоевского едва ли не дальше, чем от кого-либо другого из крупных писателей своей современности. Между двумя этими гигантами не было да и не могло развиваться сочувственных флюидов.

Правда, в критических статьях «Времени» (1861) Ф. М. Достоевский говорил об авторе «Губернских очерков» в сочувственном тоне, отметил крупные общественные заслуги «надворного советника Щедрина», сошелся с Добролюбовым в оценке освещенных сатириком «талантливых натур» и разглядел рано пробудившееся от петербургской дремы живое народолюбие Салтыкова. Но позже Достоевский откровенно не любил сатир Салтыкова, хотя иногда пробовал и сам писать в «щедринском роде» («Крокодил», «Скверный анекдот», кое что в «Дневнике писателя»). Но надо сознаться, что это самая неудачная часть в творчестве гениального писателя-сердцевода. Когда Достоевский располагал своим журналом «Эпоха», впоследствии «Гражданин», (два-три фельетона в «Дневнике писателя»), он охотно давал место полемическим ходам против Щедрина. Появление в семидесятых годах «Подростка» Достоевского в «Отеч. записках» Салтыкова, Некрасова и Михайловского было для публики весьма недоуменным фактом, и осталось единичным. С другой стороны, и Салтыков, столь охотно заимствовавший для сатир своих действующих лиц у других своих литературных сверстников — Тургенева, Островского, Писемского, Сухова-Кобылина (достаточно вспомнить хотя бы «Дневник провинциала в Петербурге»), — прошел молчанием все типическое творчество Достоевского<sup>11</sup>. Между тем к дарованию этого великого психолога он относился с глубоким уважением (хотя, по-видимому, ставил его ниже Тургенева и Льва Толстого). «Помню, — рассказывает Н. А. Белоголовый, — как он на меня горячо напал за то, что я отозвался неуважительно о талантах Виктора Гюго и Достоевского, и принудил меня сознаться в опрометчивости моего отзыва; закончил он свою защиту словами: “Как можно: у Достоевского был первостепенный талант, но только он в своих произведениях уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций. У него есть маленький рассказ «Кроткая»; просто плакать хочется, когда его читаешь, таких жемчужин немного во всей европейской литературе...”»

«Эпоха», в качестве выродившейся и весьма видоизмененной наследницы знаменитого некогда славянофильского «Москвитянина» («Москвитянина молодой редакции», «Москвитянина в зеленой обложке») была приютом для эстетического руссизма, выраженного в так

называемых «почвенниках». Главный трубач и глашатай их, блестяще талантливый и сумбурно нескладный, вдохновенный и нелепый «человек с взболтанными мозгами», Аполлон Григорьев, не выказал по отношению к Салтыкову обычной своей чуткости, которая заставляла его изумительную критическую добросовестность признавать художественную силу даже и в открытом литературном враге. Он не выносил «Щедрина», прозывал его писания «судебною» или «юридическою» литературою. «Как же я тебя матерно обругаю, — пишет Ап. Григорьев другу своему, критику Эдельсону, — если ты кадишь в своей статье судебной литературе и хоть частичку художника видишь в Салтыкове... И обругаю основательно: потому это значит пакоститься...» Сатиры Щедрина, для Григорьева, «гадость, которая только иронически может быть названа прогрессом» (1858). Сам Щедрин — «Михаил Глебович (?) Салтыков с товарищи», занимающий не весьма почетное место между «Тушинским станом» (редакция «Современника») и... просто атаманом Хлопкой или Стенькой Разиным (1860).

Григорьев умел писать только так, как в ту минуту искренно думал. Именно поэтому он часто жестоко ошибался, зато умел с такою же искренностью и каяться в своих ошибках. Ранняя смерть (1865) не позволила ему увидеть полный расцвет таланта Салтыкова. Да едва ли могла бы рассеять это ненавидящее предубеждение даже «История одного города» (1869–70): напротив, дерзновенность этой чисто западнической атаки на все исторические поверья, традиции и самохвальства старины символического «города Глупова» должна была вскипятить в критике-почвеннике всю кровь и желчь. Чтобы разглядеть, сквозь ослепление принципиального гнева, в Салтыкове большого художника, Григорьеву надо было бы дожить до «Господ Головлевых» (1875). Но они вышли в свет только спустя десять лет по кончине бурного критика, который так выразительно и справедливо называл себя «последним романтиком».

## 12

Легенда, будто бы именно нападки «Эпохи» и, в особенности, «Русского слова» заставили Салтыкова (1864) выйти из редакции «Современника», в которой-де он почувствовал раскол, причём часть сотрудников оказалась против него и на стороне «мыслящих реалистов», авторитетно разрушена еще в 1889 году А. Н. Пыпиным, бывшим сотрудником Некрасова, Чернышевского и Салтыкова, а с 1865 года и официальным редактором «Современника»<sup>12</sup>. По всей вероятности, причины к уходу Салтыкова были просто материальные.

Либеральные времена пробужденной России, когда царь прославлял «Губернские очерки», как образцовое произведение, давно минули. Польское восстание пришло «эпоху великих реформ» и воскресило реакцию. Цензура свирепствовала, а из всех тогдашних писателей, ею гонимых, Салтыков-Щедрин, конечно, был самый нецензурный. Красные чернила пестрили его писания запретительными крестами беспощадно. Под гнетом этого систематического прессы Салтыков, характер которого вообще был не из кротких и легко приемлющих житейские неприятности, изнервничался, озлобился, измучился, душою и телом. Именно тогда появились у него те нервные подергивания, что в старости писателя развились до подобия Виттовой пляски (И. А. Белоголовый) и обманули врачей, лечивших его, на этом основании, совсем не от тех недугов, которые его в действительности терзали.

Цензура оскорбляла и унижала писателя нравственно и крепко била по карману. В эти годы Салтыков познал, что значит в России литературный труд, не приглядкою издали обеспеченного человека, для которого журнальный гонорар — только приработок к постоянному доходу, а всем шкурным горем роковой писательской необеспеченности. По свидетельству А. Я. Головачевой-Панаевой, он громко вопиял, что «можно поколеть с голоду, если писатель рассчитывает жить литературным трудом, что одни дураки могут посвящать себя литературному труду при таких условиях, когда какой-нибудь вислоухий камергер имеет власть не только исказить, но запретить печатать умственный труд литератора, что чиновничья служба имеет перед литературой хоть то преимущество, что человека не грабят».

«Шкурный» вопрос осложнялся семейными обстоятельствами. М. Е. Салтыков был женат с 1856 года — на Елизавете Аполлоновне Болтиной, дочери тогдашнего вятского вице-губернатора. Брак был заключен по любви и даже, со стороны жениха, против воли родительской: мать Салтыкова, недовольная свадьбою, так рассердилась на сына, что распорядилась с ним совершенно по тому же способу, как Порфирий Владимирович Головлев с своим Володенькой, — прещений и проклятий на молодых супругов не обрушила, но перестала высылать им обычную прежде денежную поддержку из доходов с имения. Супругов выручили из затруднений сперва огромный успех «Губернских очерков», а затем четыре года вице-губернаторства в сравнительно дешевых провинциальных городах.

Для суждения о семейной жизни М. Е. Салтыкова имеется в литературе еще слишком мало данных. Да и нет в нем особенной надобности: домашний быт сатирика всегда был отгорожен от его писательской деятельности и не имел на нее ни малейшего влияния.

Несомненно, однако, что Елизавета Аполлоновна годилась в супруги губернатору в гораздо большей мере, чем литератору, и, конечно, не была счастлива, тем что Михаил Евграфович ради журналистики разбил свою успешную служебную карьеру и тем лишил свою супругу блестящей возможности быть «первою дамою» в разных благословенных губернских городах Российской империи. Удовольствие это Елизавета Аполлоновна должна была уже испытать отчасти в Твери, когда Михаил Евграфович дважды замещал отсутствовавшего губернатора. Салтыков, заметно, очень любил жену, но дружного общения и идейного товарищества между ними не было. Напротив. В восьмидесятых годах Салтыков получал неоднократные упреки от своих литературных друзей, — зачем он как бы избегает знакомства с молодыми писателями, тогда как мог бы оказывать на них самое полезное влияние. Для общения с молодежью ему советовали открыть у себя «журфиксы». — Я понимаю, что это, пожалуй, следовало бы устроить, — возразил он, — но как? Жена моя — дама не литературная; я заведу литературные журфиксы, а она назовет на них своих знакомых, гвардейцев всякого оружия, что же это будет такое?..

Брак Салтыкова оставался необычайно долго бездетным (сын Константин родился в 1872 г., дочь Елизавета в 1873). Детей он любил очень нежно, но, вероятно, был уже слишком стар для роли отца-товарища, которая так облегчает родительские заботы, когда молодое поколение начинает возрастать и приобретать сознательность. В 1880 и 1881 годах он писал девятилетнему сыну и восьмилетней дочери прелестные письма; видно, что он входил в самомельчайшие заботы и интересы своей детской. Но уже в 1886 году Н. А. Белоголовый, врач и друг Михаила Евграфовича, пользуя его в Висбадене, приписывает некоторое улучшение в состоянии своего больного его временному удалению от семьи — «прекращению вечных препирательств с женой и детьми» и «внимательному уходу за ним», которого, по-видимому, в своем домашнем быту писателю недоставало. «Природа, — характеризует Салтыкова Белоголовый, — дала ему и прекрасное сердце, и весьма деликатную нравственную организацию, и только продолжительная болезнь да семейные невзгоды сделали то, что на фоне головлевской наследственности развился такой дикий и грубый человек, каким представлялся Салтыков для лиц, мало его знавших».

Светская семья и женщина в ней занимает в сатирах Салтыкова очень значительное место, с раскраскою более чем нелестною. Бесконечно много горечи надо было накопить в душе, чтобы родить из нее всех этих «Ангелочков», «Индюшек», «Бонапартисток», «Куколок» и пр., и пр., образы бездушной самочьей «женственно-

сти», в которых воплотил Салтыков последнее женское поколение дореформенной дворянско-бюрократической России. Тут он — полная противоположность Тургеневу, Гончарову, даже Писемскому, даже Островскому, даже Достоевскому. Буквально ни одного намека на положительный женский тип не обрел Салтыков в современной ему светской среде за все сорок лет своего общения с нею. Так что ведь, в конце концов, и самое-то общество русское стало представляться ему, горестному и озлобленному, в виде изящно-пошлой «Тетеньки», с приятными атурами и куриными мозгами, к которой он, почтительный племянник, писал свои удивительные «письма» — эту мучительную смесь, в которой гневный надрыв оскорбленного патриотического негодования пред зрелищем безнадежной и всесторонней русской реакции на почве бесхарактерности и безалаберности облечен в маску самого цинического глумления...

Участие, сострадание к женщине начинает звучать в тоне Салтыкова, только когда он выступает за пределы своего сословного круга и наблюдает ее в трудовой интеллигенции, в крестьянстве, в горе, страде, темноте городского нищего мещанства. «Своя» женщина, для него, всегда — красивый, неразборчиво-алчный паразит, лишенный каких бы то ни было моральных устоев и, вместо здравого смысла и способности к рассуждению, набитый традициями глупого и пошлого воспитания, рассчитанного исключительно на то, чтобы «нравиться мужчинам»... Если бы Салтыков видел близ себя иных женщин, то, конечно, они как-нибудь да отразились бы в его зеркале, хотя бы и кривом. Но очевидно — он их не видал...

Судьба семьи жестоко тревожила его и, по-видимому, он не был ее распорядителем. Его мечта была видеть своего сына Константина также литератором. Конечно, писателю, который так зло высмеивал, по личному опыту, порядки правительственных учебных заведений, было не то что странно, а прямо-таки неловко вести сына в ту же школу «государственных младенцев», что калечила его собственное отрочество. Однако Константин Салтыков получил лицейское воспитание. В письмах к сыну Салтыков прочит его, уже с девятилетнего возраста, в «члены литературного фонда» — учреждения, пользовавшегося самою горячею и деятельною любовью Михаила Евграфовича. Нельзя было угодить ему чем-либо более приятным, чем сделал что-либо полезное для фонда. Но особенно знаменито предсмертное письмо Салтыкова к сыну:

«Милый Костя, так как я каждый день могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и береги ее; внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до со-

вершеннолетия вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться и будь безусловно честен в жизни. Вот все. Любящий тебя отец. — Еще: паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

Завет этот, обращенный к 15-летнему мальчику, остался невыполненным в своем последнем пункте: сын Салтыкова не сделался литератором<sup>13</sup>. Общий же тон письма говорит о большой тревоге умирающего писателя за будущее своей, видимо, не очень-то ладной семьи и в особенности за уживчивость ее с матерью. Не довольствуясь письменными моральными наставлениями, Салтыков поставил в своем завещании судьбу семьи своей под контроль своего ближайшего друга и душеприказчика, В. И. Лихачева, известного петербургского деятеля по городскому самоуправлению и городского головы в 1885–1892 годах. Лихачева он просил — для сына — уже не о введении в литературу, но об определении, после лицея, на службу.

### 13

Вынужденный семейными обстоятельствами возвратиться на государственную службу, Салтыков, однако, на этот раз принципиально уклонился от привычного ему министерства внутренних дел, уже успевшего, после короткого медового месяца с либерализмом, принять ту полицейскую окраску, что, впитываясь от одной смены министра к другой, превратилась к семидесятым годам из поверхностного слоя в истинное существо ведомства. Ему удалось занять более нейтральный пост — по министерству финансов — председателя казенной палаты сперва в Пензе (1864), затем в Туле (1866), наконец, в Рязани (1867)<sup>14</sup>.

Изучение ли новой специальности поглотило все его время, в самом ли деле задумывал он махнуть рукой на литературу и окунуться с головой в служебную карьеру, — только и впрямь он замолк в печати и лишь однажды за три года нарушил немоту свою статью «Завещание моим детям» в январской книжке «Современника» за 1866 год. Впрочем, дальше Салтыкову уже и негде было печататься. 4 апреля 1866 года раздался на набережной Невы у Летнего сада выстрел Каракозова в Александра II, а в мае «Современник» был закрыт, обвиненный М. Н. Муравьевым-Виленским в том, что якобы этот журнал своим тлетворным направлением как бы зарядил пистолет Каракозова.

Но в 1868 году Н. А. Некрасов и публицист Г. З. Елисеев арендовали «Отечественные записки» — старое, одряхлевшее издание А. А. Краевского, с расчетом обновить его из останков погибшего

«Современника». Салтыков был для этой цели необходимым сотрудником. Некрасов умел расшевелить его, вывести из молчания. Соскучившийся без литературы, накопивший несметное богатство новых наблюдений и новых мыслей, Салтыков принялся работать для «Отеч. записок» запоем. Каждая выходящая книжка непременно украшалась его статьей.

Службы, однако, он еще не бросал, — зато теперь служба его бросила: именно теперь-то Александр II и нашел неудобным совместительство в одном лице председателя казенной палаты и автора «Помпадуrows и помпадуrow». Салтыков подал в отставку и был уволен (с чином действительного статского советника и с ежегодной пенсией в 1000 руб.). Теперь, в качестве вольного казака, он мог уже безоглядно отдаться своему литературному призванию. По первоначальному уговору с Некрасовым, Салтыков должен был войти в редакцию «Отеч. зап.» в качестве третьего редактора-пайщика, но это как-то не вышло, и Салтыков довольно долго оставался при журнале на правах лишь постоянного сотрудника. Положение это было ненормально и несправедливо. Ведь именно участие Салтыкова и дало ход «Отеч. запискам», двинув их в широкую публику: достаточно указать, что в 1869–1870 годах на их страницах появилась «История одного города», чтобы понять интерес общества к новому изданию и быстрый рост его успеха. Некрасов понял, что редакционный дуумвират надо превратить в триумвират, и Салтыков занял подобающее ему место.

Семидесятые годы — самое счастливое, в смысле литературного творчества, время Салтыкова. Вызревший, углубившийся талант его развернулся необъятною ширью, которой не ожидали даже и самые страстные поклонники «надворного советника Н. Щедрина». Этот старый образ, символ еще губернского обличения, становится теперь уже слишком узким для синтетических задач и мощных обобщений автора «Истории одного города» (1869–1870), «Господ Ташкентцев» (1869–1872), «Дневника провинциала в Петербурге» (1872–1873), «Благонамеренных речей» (1872–1876), «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1877) и, наконец, — венца салтыковского горького смеха, — жестокой до ужаса «Современной идиллии» (1877–1883). И еще в ряду этих блистательных книг, по хронологии, но как бы несколько обособившись от них по характеру, стоят «Господа Головлевы» — великое произведение, которым Салтыков оправдал давнюю угадку в нем Чернышевским могучего творца художественной правды. Роман этот как бы снимает с Салтыкова его профессиональную приписку к цеху сатириков, т. е. в существе полухудожников, полупублицистов. «Господа

Головлевых» (1872–1876) стали твердою ногою на высшую ступень типического творчества — в один строй с «Мертвыми душами» Гоголя, с «Преступлением и наказанием» Достоевского, с «Войною и миром» Толстого. Порфирий Владимирович Головлев — «Иудушка» — делается историческим русским типом, кличка его — нарицательным именем, как Ноздрев, Чичиков, Плюшкин, Собакевич.

Итак, «Н. Щедрин» остается теперь лишь условным и привычным для публики старым псевдонимом, подписью которого заманчиво украшаются концовки статей. Авторское «Я» — неизменное центральное почти во всех названных общественно-политических сатирах (как и в позднейших — «Убежище Монрепо» (1878–1879); «За рубежом» (1880–1881), «Письма к тетеньке» (1881–1882) и т. д.) — теперь совсем отличное от прежнего Н. Щедрина, — новое, другое. Оно раздвоилось. «Я» в тесном смысле, которое ведет рассказ, — поразительно выдержанный символ бесхарактерности, дряблости, прекраснодушия вымирающих «людей сороковых годов» — «кающихся дворян», Рудиных, которым «суждены благие порывы, но свершить ничего не дано». Второе «Я» — неразлучное с первым лицо друга и спутника, «Глумова» (без имени и отчества) — символ здравого смысла, практической приглядки к текущей жизни, образ философа-реалиста, насмешливого созерцателя-скептика, приспособляющегося поневоле, но никогда, ни в каком приспособлении не теряющего своей резкой правдивости без компромиссов, критики без самоизвинений, безжалостно «одергивающего», неумолимо логического. Словом, портрет самого исторического Салтыкова. Ведь он же был «Глумовым» как бы каждого из современных ему русских интеллигентов — интимным и простым приятелем — собеседником из года в год и из месяца в месяц. С каким восторгом и трепетом выжидалась тогдашним чутким читателем желтенькая книжка «Отч. записок»! Потому что он знал, что со страниц ее взглянет ему в глаза сама его совесть и, улыбаясь, но беспощадно, — проэкзаменует его, как гражданина и человека, в чем-нибудь таком, чего он, хоть убей, не ожидал а между тем оно-то и необходимо, и, как день, ясно.

Есть у тени Салтыкова одна особенность, органически отличающая ее от большинства других прославленных теней. Это — ее исключительная простота и, если можно так выразиться, домашность. Ни при жизни, ни по смерти фигура Салтыкова не имела и не приобрела в воображении читателя того монументально-мифологического величия, которым — и из живых-то писателей — многие превращаются как бы в собственные свои статуи, воздвигнутые по общественной подписке, а уж посмертная слава обдeldывает по этому образу и подобию почти всех, о ком помнит.

С Салтыковым этого нет и едва ли может так быть. Через тридцать лет после кончины он тот же, что и был живой. Никогда не над нами, в горних сферах, как многие и многие, а всегда с нами, где-то здесь, посреди нас.

В этой неразрывной спайке с «другом-читателем» таятся громадная сила и совершенно исключительное обаяние Салтыкова. Ни один великий писатель до него на Руси не был своему читателю настолько товарищ, человек с человеком, так интимно вровень, без божественного глагола и обусловленного им оттенка превосходства и потребности в кумиротреблении. Возвышение человека на идольский пьедестал было Салтыкову просто органически противно, как самое глупое унижение человеческого достоинства, — одинаково и возвышающих, и возвышаемого. Весь земной, даже земляной, он желал быть от мира сего и с миром сим. Раньше его шел по тому же пути другой великий талант, может быть величайший из всех талантов реалистической школы, схожий с Салтыковым беспощадною правдою письма и несравненно народною сочностью языка — А. Ф. Писемский. Но он слишком рано утопил свою силу и авторитет в «Взбаламученном море»<sup>15</sup> и уже не сумел всплыть со дна. После Салтыкова моральная демократизация литературного величия стала как бы неперенным законом. Она развернулась полным и прекрасным цветом в прямом продолжателе Салтыкова, хотя и на других путях, — Ант. Павл. Чехове.

Во всех почти сатирах Салтыкова Глумов проходит вроде как бы «кума» (compère) французских «Обзрений», необходимого для движения и истолкования действия. Несмотря на такую, казалось бы, чисто служебную роль свою, «Глумов» — едва ли не самое совершенное, глубокое и прочувствованное создание Салтыкова, в смысле чисто психологической концепции. В «Современной идиллии» — произведении отчаяния пред зрелищем России, обращенной полицейским произволом последних лет царствования Александра II и первых Александра III в какую-то исполинскую помойную бездну, кипевшую зловонными помоями бесшабашного жульничества, авантюры, хамства, предательства, продажности, бессердечия, всестороннего дневного грабежа, — Салтыков возымел жестокую мысль сделать действующим лицом и, так сказать, распять даже и самого Глумова. Чтобы явить себя вполне «благонадежным» обывателем по полицейским требованиям новой столь счастливой политической эпохи, живой символ русского здравого смысла вынужден совершить целый ряд житейских пошлостей и гнусностей и увенчать сие блистательное здание, поступив содержанием к содержанке старого скопца, выдаваемой предварительно

замуж за заведомого двоеженца, адвоката Балалайкина... Едва ли какой-либо сатирик со времен Раблэ, не исключая даже Свифта, достигал той гиперболической дерзости, на которую посягает здесь ужасный, убивающий смех Салтыкова. Обычная символическая роль Глумова передана в «Современной идиллии» лицу отвлеченному и безмолвному — видению «Стыда». Оно является злополучным героям благонадежности во сне каждый раз после того, как подвиги их трусливого усердия в деле самосохранения превышают уже все меры и возможности подлости человеческой...

В этот период деятельности, на страницах перечисленных произведений, вызваны Салтыковым к жизни все те сословные и общепытовые типы, чьи имена стали с тех пор нарицательными в русском обществе, как каторжные клейма, положенные неумолимою рукою на грехи целых эпох и классов. Адвокат Балалайкин, кулацкое засилье Разуваева и Колупаева, странствующий полководец Редедя, вольнонаемный редактор Иван Иванович Очищенный, прокурор Громобой, сановники Удав и Дыба, действительный статский советник Стрекоза, наш собственный корреспондент Подхалимов, Выжлятников, «Прокоп» — и еще длинная-длинная галерея бессмертных образов с какими-то инстинктивно меткими, впивающимися в память кличками, — вошли в наше сознание, как своеобразные гироглифы, каждый из которых скрывает в себе жизненную тайну какого-нибудь широчайшего безобразия русской природы или культуры. Сочинения Салтыкова были так тесно сопряжены с злободневными политическими и общественными интересами его времени, что многие из них уже трудно читаются без подробного исторического комментария. И тем не менее именами салтыковских символов можно говорить без всяких пояснительных характеристик. Они усвоены даже теми, кто не читал Салтыкова, по простой наслышке, не ведающей даже их происхождения. Раньше Салтыкова только Фонвизин с «Недорослем», Грибоедов с «Горем от ума», Гоголь с «Ревизором» и «Мертвыми душами», да Сухово-Кобылин со «Свадьбою Кречинского» и Островский с двумя-тремя типами купеческих самодуров имели ту же удачу; после Салтыкова — один лишь Чехов.

А паразитическое умение Салтыкова пользоваться для новых сатирических целей юмористическим наследием своих предшественников! Гениальное перерождение типа Молчалина («В среде умеренности и аккуратности») в бесконечно разветвленной приложимости к администрации, бюрократии, прессе, искусству нового века почти затмило от нас свою сановитую фигурую основное действующее лицо из «Горя от ума». Ноздрев из «Мертвых душ», Расплюев из «Свадьбы

Кречинского» воскресли в условиях послереформенной культуры и получили с новой жизнью и новое публицистическое назначение. Даже не действующие лица, а лишь упоминаемые мимоходом в памятниках былого русского юмора давали Салтыкову блестящие идеи к новому их использованию в целях той же иероглифической типичности. Так, например, дух исторической иронии, которою он был богат несравненно, подсказал ему комическую родословную адвоката Балалайкина — от Репетилова и цыганки Матрешки, а воспитателем сего дворянско-цыганского ублюдка он делает Ипполита Маркельча Удушьева, в котором Грибоедов, олицетворяя болтливую фронтду своей эпохи, — метил чуть ли еще не в знаменитого Чаадаева. Другой адвокат Клещ (по шерсти кличка) — сын Чичикова и Коробочки. Престарелый Загорецкий успешно судится «новым судом» с Софьей Павловной, вдовой Чацкого, за наследство, пренелепо назначенное сим энтузиастом в духовном завещании — «милому моему другу Сонечке». Тарас Скотинин оказывается правителем канцелярии у «помпадура борьбы» Фединьки Кротикова. И так далее — бесконечною вереницею причудливого вымысла, который, в своей глубокой пронизательности, обращает эти стремительно рождаемые кажущиеся парадоксы в меткие и неотразимые сближения, до dna души угаданной, типической русской и общечеловеческой правды.

## 14

Блестящее литературное десятилетие 1869–1879 годов было счастливо для Салтыкова и материально. «Отечеств. записки» давали хороший доход. На перевале от пятого к шестому десятку лет писатель был, наконец, в состоянии чувствовать себя в довольстве и сравнительно спокойным за будущее, хотя решительно над каждой книжкой журнала повисали черные тучи, чреватые цензурными громами. Но, покуда жив был и не потерял еще сил Н. А. Некрасов, столь же искусный делец, как великий поэт, он умел противопоставлять правительственным молниям должные громоотводы. Смерть Некрасова (1877) поставила М. Е. Салтыкова во главе редакции «От. зап.». Вторым членом ее остался Г. З. Елисеев, третьим — на место Некрасова — вошел теперь Н. К. Михайловский. С этого времени на Салтыкова легли все хлопоты по сношению с цензурным ведомством, где его ненавидели и боялись и которое Мих. Евгр. презирал всеми силами души. А между тем должен был всецело от него зависеть!

При строптивом, угрюмом нраве Салтыкова, при его вспыльчивости и болезненной нервности, каждое столкновение с главным

управлением по делам печати съедало у него, по крайней мере, месяц жизни. А человек он был и смолоду-то нездоровый, теперь же, в пожилых годах, его подкосила простуда, схваченная им еще в 1874 году в зимней поездке в Тверскую губернию на похороны своей матери. Ревматизм, явившийся последствием этой простуды, перешел в серьезную болезнь сердца. Заграничное путешествие, предписанное врачами, не только не помогло Салтыкову, но, по выражению Н. А. Белоголового, сделало его инвалидом на всю остальную жизнь. Именно с этого времени Салтыков приобретает тот убийственный, удушливый кашель, — тот хриплый, шумный, грозный голос, который он сам определял: «лаю, как собака», — тот взгляд сердитый и в то же время как бы испуганный — взгляд опасного и притом очень мнительного больного, — что сливаются с образом Салтыкова у всякого, кто видел его хоть однажды в жизни. О его мнительности и страсти лечиться Белоголовый рассказывает эпизоды почти маниакальные. Он приходил в ужас от количества и разнообразия лекарств, которые круглый день глотал Михаил Евграфович — «то ложку микстуры, то капли, то порошки, и ужасно боялся, как бы не перепутать и не пропустить время приема». И в то же время высказывал постоянно полную безнадежность в своем поправлении, ругая бесплодность тех самых лекарств, которые так усердно глотал.

Любопытно, что все это самомучение производилось им совсем не из страха смерти. К ней он начал готовиться за много лет до 28 апреля 1889 года, когда она его настигла, и всегда рассуждал о ней очень спокойно и мужественно. Скорее это были поиски здоровья для деятельности, которой неутолимо жаждал его стремительный и на диво работоспособный ум. Дух был неугасимо бодр, а плоть совсем немощна. Доверившись прибежищу медицины, больной человек молил у нее средств — уравновесить два борющиеся начала. И, не получая, выходил из себя, неистовствовал и еще более ухудшал свое положение. Ссорился с Боткиным, делал сцены Белоголовому. К физическим мукам присоединилось тяжкое сознание своей чрезмерной раздражительности, сознание, что она уже непроизвольна, что он не в силах справляться с ее беспрерывными вспышками. Семья его раздражала чуть не ежеминутно, — он вспыхивал, как порох, от всякого противоречия жены, от ничтожной шалости детей. И чувствовал, что сам делается невыносимо тяжел для семьи, что кошмарная домашняя обстановка должна дурно отразиться на воспитании детей, и все это, при его большой любви к ним, приводило его в новое и новое отчаяние.

Так прожил он 15 лет, год от года все хуже. Каким образом этот организм — «весь изгрызанный многолетнею болезнью до то-

го, что в нем почти не оставалось ни единого органа, который мог бы правильно отправлять свою физиологическую деятельность» (Белоголовый) — выдерживал чудовищную массу творческого и редакторского труда, принятого на себя Салтыковым, эта загадка со временем поставила в тупик врачей, вскрывавших его труп. По науке, человеку следовало бы давно лежать в могиле или, по крайней мере, сидеть в доме умалишенных в неизлечимом отделении. А он, вместо того, восхищал русскую читающую публику «Письмами к тетеньке», бросал в общество, как бомбы зажигательные, одну за другою, горькие, искрометные «Сказки», заставлял нас смеяться и плакать над «Мальчиком в штанах и мальчиком без штанов», гореть стыдом от зрелища «Торжествующей свиньи», никнуть головами вместе с «обращенным» Крамольниковым. «Напомним, — указывает Белоголовый, — что из 9 томов полного собрания его сочинений почти половина написана им после 1875 года, т. е. того года, когда непоправимая болезнь стала подтачивать его силы».

Не менее удивителен был редакторский труд М. Е. Салтыкова. Не было рукописи, поступавшей в редакцию «От. зап.», которая не была бы им просмотрена с самым добросовестным вниманием. И если рукопись принималась, то редакторский карандаш его гулял по ней, пока произведение не расстанется со всеми своими бросающимися в глаза недостатками и не выльется в форму, по мнению Салтыкова, вполне удовлетворительную. Покуда существовали «От. зап.», некоторые новые их беллетристы успели заслужить внимание и любовь публики, находившей за ними только один недостаток, что они пишут, немножко слишком подражая Щедрина. Но с закрытием «От. зап.» часть таких беллетристов замолкла вовсе, а часть, появляясь в других изданиях, оказалась пишущей гораздо хуже, чем публика привыкла читать их под редакцией Салтыкова. Секрет был простой. Если Салтыкову нравилось «что» рассказа, но «как» его хромало, он не жалел труда и времени, чтобы пересоздать рукопись, иногда почти уничтожая первоначальный текст, делая свои вставки чуть не целыми страницами.

К числу редакторов потаковщиков, считающих своим долгом поглаздить по головке каждого начинающего автора и тем стяжать себе великую популярность покровителя и изыскателя талантов, Салтыков никак не принадлежал. Приемы его были неласковы, даже суровы, а в частые недобрые минуты болезненного раздражения и грубы.

«Будьте любезны, Михаил Евграфович», — просила его о какой-то услуге по редакции какая-то из случайных сотрудниц. — «Сударыня, — возразил Салтыков, — быть любезным совершенно не моя специальность». (Н. К. Михайловский).

В этой внимательной школе, под сурово любящей рукой редактора Салтыкова из людей, одаренных литературными способностями, легко и быстро вырабатывались большие писатели. Самый яркий пример — С. Н. Терпигорев (Сергей Атава). Случайно и поздно начавший свою литературную деятельность, — именно под влиянием и по совету Салтыкова, — автор знаменитого «Оскудения» появился в «От. зап.» столь схожим по тону и языку с «Щедриным», что многими в читательской массе «Сергей Атава» был принят за новый псевдоним М. Е. Салтыкова. «Очерки его, — свидетельствует С. Ф. Либрович, знакомый с корректурами “Оскудения”, — подвергались со стороны Салтыкова огромной правке: он изменял их, сокращал, дополнял, так что, глядя на корректуру, трудно было решить, что собственно принадлежит Терпигореву, а что Салтыкову...» Что такая решительная редакторская правка не препятствовала самостоятельному развитию таланта, достаточно показывает художественное мастерство Терпигорева уже после того, как он отошел от редакции «Отеч. записок» и лишился руководящего салтыковского блюстительства. Отдаление это не замедлило обнаружить в писателе чересчур скептическое равнодушие к своим темам и мелковатость внутреннего содержания, которое умела углублять мастерская редакторская рука Салтыкова, но по совершенству формы, богатству языка, простоте и решительности литературных приемов этот «ученик Щедрина» заслуженно занимает одно из заметных и почетных мест в изящной словесности девяностых годов. Н. К. Михайловский приводит другой поразительный пример — повести Котелянского «Чиншевики», которую Салтыков как бы написал заново, так как «вытравил на всем протяжении повести одно из действующих лиц целиком, со всеми его довольно сложными отношениями к другим, оставшимся действующим лицам». Повесть от переделки много выиграла, автор был доволен, но удивлялся, как Салтыков «ухитрился» проделать такую огромную и тяжкую работу, требующую не только напряженного редакторского внимания, но и авторского проникновения сюжетом.

Но это был в полном смысле слова — «*le bourru bienfaisant*» («Благотельный сварливец»), потому что за наружною свирепостью его скрывалось самое участливое доброжелательство каждому, в ком усматривал он хоть малую искру таланта. И, ворча, ругаясь, как сердитый школьный учитель, рассыпая насмешки злейшего остроумия, он в то же самое время готов был, что называется, распластаться для такого человека, — и сколько прекрасных литературных сил — вроде того же Терпигорева — было, таким образом, воспитано им в «Отеч. зап.», поставлено на ноги и выведено на дорогу самостоятельной

широкой деятельности!.. Но к редакторскому авторитету своему и к знамени «Отеч. записок» он был очень ревнив. Так, например, его привела в совершенное неистовство «дерзость» В. М. Гаршина поместить известный рассказ «Attalea princeps», отвергнутый им для «Отеч. зап.» (не по литературным недостаткам, а по «несвоевременному гражданскому скептицизму»), в другом либеральном издании. Он считал этот протест «изменою» — и со стороны автора, и со стороны журнала, — изменой единству сомкнутого либерального лагеря, предводимого и символизируемого, конечно, его редакцией, его журналом, его триумvirатом с Елисеевым и Михайловским.

Поразительная работоспособность сопрягалась в нем с такою же аккуратностью. Рукопись, предназначенная им для книжки журнала, поступала в набор ровно за месяц до ее выхода в свет — день в день. Такой же точности требовал он и от соредакторов и сотрудников. К запоздавшим не уставал посылать «мальчиков из типографии» с приказом «стоять над душой» провинившегося, покуда не получат ожидаемого манускрипта.

## 15

В котле такого каторжного, но страстно любимого труда кипел он — годами — большую часть своего дня. Домашняя жизнь его была резко отделена от редакционной; литература в нее проникала мало, как это заметно по воспоминаниям даже ближайших к «От. зап.» лиц, не исключая Н. К. Михайловского.

Личные дружбы Салтыкова, в старости, тоже не столько литературные, сколько — из круга старых сверстников по либеральной бюрократии «эпохи великих реформ»: В. И. Лихачев, А. М. Унковский; а в заграничных своих путешествиях, чрез Н. А. Белоголового, он очень сблизился с неудачным творцом пресловутой «диктатуры сердца», опальным графом М. Т. Лорис-Меликовым. Сближение это, однако, не воспрепятствовало Салтыкову создать знаменитую фигуру павшего «вместилища государственности» — «графа Твэрдоонто» («За рубежом»). По идеям сего курьезного сановника, она метила главным образом во всемогущего министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого, но сатирик не удержался от искушения придать ей и несколько комических черт, в которых современники легко признавали Лорис-Меликова. Включительно до армянского «э» столь неожиданного в азбучной фамилии «Твердо-он-то»<sup>16</sup>.

Поверхностный либерализм, которым, уже накануне катастрофы 1 марта 1881 года, спохватившееся правительство Александра II

воображало починить свой авторитет, разрушенный пятнадцатилетней реакцией, вообще, нисколько не обольщал проницательно-го Салтыкова. Сам бывший бюрократ, он слишком хорошо знал, с кем дело имеет. Когда новый либеральный начальник главного управления по делам печати, Абаза, собрал редакторское совещание на предмет обсуждения, как улучшить положение русской прессы, Салтыков сразу погубил этот опыт медоточивого лицемерия, поставив решительный вопрос ребром: имеется ли в виду отмена всяких иных мер по так называемым проступкам в печати, кроме преследования в обычном судебном порядке частного обвинения? ...Абаза смутился, завилчал. — Тогда, значит, нам и толковать не о чем, — беспощадно отрезал Салтыков и ушел с «совета нечестивых».

Другое подобное совещание Михаил Евграфович, по рассказу Н. К. Михайловского, оборвал еще резче. «Окончив официальную речь, министр обратился к Щедрину с любезною шуткой: “Под каким вы меня соусом подадите теперь публике, Михаил Евграфович?” — “Нам не до соусов, ваше высокопревосходительство! не до соусов!!! не до соусов!!!” — отвечал сатирик, постепенно возвышая свой бас и угрюмо отходя в сторону...»

Вопрос о свободе печати был для него самым мучительным призраком всей его жизни, с первых и до последних дней литературной деятельности. К. К. Арсеньев приводит найденные в черновых бумагах Салтыкова «Замечания на проект устава о книгопечатании», писанные еще в 1862 году, по поводу работ особой комиссии при министерстве народного просвещения, под председательством кн. Д. Л. Оболенского, которые впоследствии послужили материалом для закона о печати 5 января 1865 года. В замечаниях своих Салтыков резко разбивает все ограничительные предположения проекта и жестоко высмеивает его якобы освободительные подачи, вроде «права администрации освобождать или не освобождать периодические издания от предварительной цензуры», в зависимости, конечно, от их благонадежности. «Если даже смотреть на слово как на нечто вроде смертоносного орудия, — насмешливо замечает Салтыков, — то все-таки нельзя отнимать у писателей право, которым обладает всякий разбойник: право подвергать себя наказанию за совершенное преступление». Еще курьезнее было великодушное предоставление «права изданиям, освобожденным от предварительной цензуры, подчиняться ей добровольно». «Какая надобность правительству, — спрашивает сатирик, — предлагать свою опеку для всех нищих духом? Ведь не учреждает же оно особой палаты для управления теми именьями, владельцы которых не умеют извлечь

из них всех выгод. Во-вторых, благонамеренные издатели могут, если встретят сомнение в своей благонамеренности, посоветоваться с своими приятелями, а не затруднять правительства. В-третьих, наконец, проектируемый порядок может породить в литературе “дурные привычки”; могут найтись люди, подчиняющиеся цензуре с целью заявить о своей благонамеренности. Чем больше наберется таких людей, тем более подозрительными будут казаться не следующие их примеру...» В 1862 году Салтыков, конечно, еще не мог вообразить для России свободы печати без ответственного бюстительства за нею, но единственно разумным средством к тому он полагал — учреждение вроде комитета литературного фонда: выборный совет из среды самих литераторов.

В эпоху «диктатуры сердца», встреченную им, как мы видели в случае с Абазою, с крайним недоверием, Салтыков горько размышлял:

«Я почти тридцать пять лет литераторствую, не пользуясь покровительством законов, но и за всем тем не ропщу. Бывали, правда, огорчения, и даже довольно сильные, — иногда казалось, что кожу с живого сдирают, — но когда проходила беда, то я припоминал соответствующие случаю пословицы и... утешался ими. Бывало, призовут, побранят — я скажу себе: брань на воротах не виснет. Или, бывало, местами оциплют, а временем и совсем изувечат — я скажу себе: до свадьбы заживет. В моих глазах произвол имеет ту выгодную сторону, что он для всех явно несомнителен. Он не может ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а может только физически измучить. Никому не придет в голову справляться, правильно или неправильно поступил произвол, потому что всякому ясно, что на то он и произвол, чтоб поступать без правил, как ему в данную минуту заблагорассудится. Так что ежели у произвола и была жестокая сторона, к которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно в том, что ни один литератор не мог сказать утвердительно, что он такое: подлинно ли литератор или только сонное мечтание. Дунул — и нет его.

Тем не менее для меня не лишено важности то обстоятельство, что в течение почти тридцатипятилетней литературной деятельности я ни разу не сидел в кутузке... Но не придется ли познакомиться с кутузкой теперь, когда литературу ожидает покровительство судов? — вот в чем вопрос».

Однако это сомнение свое Салтыков склонен был разрешить все-таки в пользу судов, под тремя необходимыми условиями: «1) чтобы процедура предания суду сопровождалась не сверхъестественным, а обыкновенным порядком; 2) чтобы суды были тоже не сверхъестест-

венные, а обыкновенные, такие же, как для татей, и 3) чтобы “кутузки” ни под каким видом по делам книгопечатания не полагалось».

«Ежели эти мечтания осуществляются, — прибавляет Салтыков, — да ежели денежными штрафами не слишком донимать будут, то будет совсем хорошо».

Но — увы! когда он, во образе «нашего собственного корреспондента» Подхалимова, изложил свои скромные пожелания «графу Твэрдоонто», сановник этот, вместо ответа, — вынув из кармана трубку, протрубил:

Трубят в рога!  
Разить врага!  
Давно пора!

«И зачем только я этот разговор завел?» — с горестною безнадежностью заключает Салтыков.

Безнадежность глубоко законная, трагически оправданная. Времена приходят и уходят, поколения рождаются и умирают, режимы меняются, но свобода литературного слова — даже в скромных пределах мечты Салтыкова — остается мифом во всех обстоятельствах и метаморфозах политического строя. Только переставляются с полюса на полюс цензуры, и вчерашнее преступление печати сегодня оказывается ее заслугой, а сегодняшняя заслуга завтра оказывается злодеянием, со всеми тому соответственными последствиями. Умирая, Салтыков имел полное право сказать, что цензурные ножницы встретили его в колыбели — и проводили в могилу. Преемники его не счастливее предка.

## 16

Окончательное захирение Салтыкова развилось с февраля 1884 года, когда «Отечеств. записки» постигло запрещение, в порядке соглашения четырех министров (по закону 1882 года). «Произвол» на этот раз распорядился настолько бесцеремонно, что ответственного редактора, действительного статского советника Михаила Салтыкова, главное управление по делам печати не потрудились даже уведомить о прекращении его журнала. Он узнал о катастрофе от одного приятеля, который, случайно заглянув в «Правительственный вестник», прочитал роковое «правительственное сообщение», — грозный обвинительный акт против всей передовой русской печати, как силы, ответственной за революционное брожение и террор, и в особенности против «От. зап.». «В их редакции, — гласило сообщение, — группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционной органи-

заций. Еще в прошлом году один из руководящих членов редакции означенного журнала подвергся высылке из столицы за крайне возмутительную речь, с которою он обратился к воспитанникам высших учебных заведений, приглашая их к противодействию законной власти. Следствием, кроме того, установлено, что заведующий одним из отделов того же журнала до времени его ареста был участником преступной организации. Еще на сих днях полиция поставлена была в необходимость арестовать двух сотрудников этого журнала за доказанное пособничество с их стороны деятельности злоумышленников. Нет ничего странного, что при такой обстановке статьи самого ответственного редактора (т. е. М. Е. Салтыкова), которые, по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и в изданиях, принадлежащих эмиграции. (Речь идет о сказках «Орел-Меценат», «Топтыгин» и «Ворон-Челобитчик».) Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «От. зап.» не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего не мало смуты в сознание известной части общества».

Лично Салтыков в разгроме этом отделался только жандармским обыском, — пресловутым обыском, во время которого он довел жандармов до белого каления тем, что на разные голоса — то тонким дискантом, то густейшим басом — распевал «Боже, царя храни»<sup>17</sup>. Вообще, по словам Белоголового, он на первых порах принял катастрофу легче, чем ожидали от человека так болезненно впечатлительного, нервного и к тому же страстно влюбленного в свой погибший журнал. Но можно было совладать с собою, храбриться и делать вид, будто роковой выстрел пролетел мимо, — в действительности же, пуля засела в непосредственной близости к измученному сердцу писателя. Салтыков понял, что «свое» дело, — а «свое» дело для него была и вся его жизнь, — кончено, и кончено бесповоротно; в России ему уже не иметь своего органа, своего самостоятельного голоса, за который он один — и в деле, и в ответе.

Н. К. Михайловский, узнавший Салтыкова в 1870 году, говорит о своем двадцатилетнем знакомстве с великим сатириком, что Михаил Евграфович был настолько цельным литератором, писателем до мозга костей, до кончика ногтей, что ему, Михайловскому, трудно представляется, как это Салтыков, в юности своей, «служил, писал или подписывал отношения и предписания, подвигался вверх по лестнице табели о рангах, хозяйничал в деревне, бывал, конечно, в обществе, беседовал с дамами, играл в карты и т. д.» Вне литературы и литературных отношений Салтыков представляется

Михайловскому «чем-то вроде рыбы, вытащенной из воды: беспомощно и неумело бьется рыба на берегу, и все ее существо проникнуто одной инстинктивной тоской тяготения к родной стихии, без которой ей не жить... Тяготел он к литературе всем существом своим, почти стихийно, как бы из чувства самосохранения. Именно так мучительно бьется и тоскует рыба, вытащенная из воды: нельзя ей остаться на берегу, — уснет. Перелетные птицы тоже так тянут осенью в теплые края: нельзя им остаться на нашем севере, — замерзнут». Нельзя было и Салтыкова выбивать из литературы: это значило подписать ему смертный приговор.

Будь он моложе, здоровее, богаче, он мог бы, пожалуй, еще спасти себя — именно по способу перелетной птицы. Мог бы, пожалуй, броситься в политическую эмиграцию и повторить роль Герцена с его «Колоколом». Его даже и манили к тому, открывали для него эту возможность. Но ему минуло уже 58 лет: годы, когда Герцен не начинал, а кончал, — поздние для такого смелого решительного шага! Да и слишком уж русским по душе, даже определенно и типически великорусским человеком был этот западник, Салтыков. Европа могла быть для него только временною лечебницею и аптекою, долгой эмиграции он не выдержал бы.

Да, строго рассуждая, что бы такое он мог тогда и внести-то туда — в жизнь и деятельность тогдашней русской политической эмиграции? — после дела 1 марта, после разгрома «Народной воли», ареста Германа Лопатина и т. д.? Все литературные слова там были уже сказаны и написаны. Революция нуждалась теперь не в словах, как бы сильны они ни были, но в действиях и людях действия, в замене героев перевешанных и исчезнувших в каторжных тюрьмах Шлиссельбурга и Сибири. Ее эмиграция была новая, молодая, социалистическая, — частью террористическая, частью уже марксистская. Салтыков же, конечно, не годился ни в бомбисты, ни в плехановцы. Он был искренним другом и страстным защитником рабочего класса, но в социализме он не шел далее того, идеалистического сочувствия великим французским утопистам тридцатых годов, почва которого в свое время помогла ему сблизиться в общем лагере с Чернышевским. Да и Чернышевского-то он слегка упрекал за самоуверенность, с которою тот проповедовал в «Что делать?» практическое осуществление идеала Фурье, тогда как, по Салтыкову, здесь практических программ для художника быть не может. Они зависят не от мечты художника, но от культуры той будущей эпохи, которая дозреет до превращения идеала в реальность, — а покуда дело художника лишь проповедовать общие положения великой теории, дабы они не превращались в «забытые слова», но неустанно

двигали бы культуру к ее великой конечной цели. Конечно, говоря на тогдашнем революционном языке, это была уже «либеральная постепеновщина». Уже у эмиграции 70-х годов не в чести были и слыли за отсталых постепеновцев даже Герцен и Огарев. Эмиграции годов восьмидесятых Салтыков показался бы — там, на месте, — не более как филантропом, который, болея сердцем за рабочего, сокрушаясь о меньшем брате и ненавидя его притеснителей, однако, не знает или опасается радикальных мер против притеснения, не воображает себе близости и необходимости социального переворота. И, конечно, мощь и польза Салтыкова для эпохи семидесятых-восьмидесятых годов заключалось в подготовке не социальной революции, которой вызревания надо было ждать еще тридцать лет, но в политической оппозиции, которая была уже насущной потребностью общества. А она могла успешно развиваться, конечно же, только внутри страны, при внимании масс, а не за границу, при внимании единиц, — к тому же таких, о которых справедливо говорится, что ученого учить — только портить. Пусть в России Салтыкову приходилось говорить не прямую речь, но «эзоповым языком»: он обучил расшифровке своих иносказаний уже десятки тысяч людей. Его «эзопов язык» понимали уже лучше самой открытой и явственной речи и выжидали его символов с жадным нетерпением, как откровения, как новой молнии, которая, внезапно грянув из этой вечно бдительной, угрюмо напряженной тучи, грозным хохотом осветит и насмерть поразит какое-либо очередное явление «царящего зла»...<sup>18</sup>

## 17

В 80-х годах была очень распространена в фотографических снимках аллегорическая картина московского художника Брызгалова, изображавшая Щедрина в его неизменном домашнем халате вишневого цвета пробирающимся, с книгою «От. зап.» в руках, чрез темный лес, полный фантастических чудовищ, к недалекому просвету... Благодаря автору за присыл этой картины, Салтыков, однако, писал ему:

«Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще, это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими годами и с прогрессом, в форме генерала от инфантерии и действительного тайного советника...»

Горечь, звучащая между строк этой благодарности, была очень обычна Салтыкову в его сношениях с восторженною читающею публикою. Его часто упрекали в том, что он как будто уж слишком «не дорожит любовью народной». Известно, как на приветственную телеграмму московского кружка «ежемесячно обедающих» интеллигентов он ответил телеграммою за откровенно насмешливою подписью «ежедневно обедающий Салтыков»<sup>19</sup>. На другую телеграмму московских же поклонников, в день двадцатипятилетия его литературной деятельности, он, по воспоминаниям Н. Орлова, «никак не мог округлить ответа» и за него ответил Тургенев. Десятки свидетельств в воспоминаниях современников, горькие размышления «Крамолышкова», этюды о «Читателе» и пр. ясно выявляют, с каким глубоким скептицизмом относился Салтыков к своей литературной славе, к своему общественному влиянию. Многим казалось это неблагодарностью, но роковое испытание 1884 года доказало, что угрюмый скептик хорошо знал общество, в котором жил и действовал, и был глубоко прав.

Постигший великого сатирика цензурный разгром, тяжкий и морально, и материально, осложнился именно постыдным поведением русского общества. Салтыков, пишет Н. А. Белоголовый, «не только не нашел никаких признаков сочувствия, но весьма многие из его некогда страстных поклонников стали теперь видимо сторониться от него, как от зачумленного». Лучшее всех отличилась либеральная Тверь. В ее земском музее давно уже воздвигнут был бюст Салтыкова как знаменитого уроженца Тверской губернии. После «Правительственного сообщения» председатель земской управы Жизневский, чуть ли не по инициативе которого и поставлен был бюст, теперь спешно распорядился вынести его на чердак, как «изображение лица неблагонамеренного».

Подобные моральные удары хорошо объясняют страх за материальное обеспечение своей семьи, который овладел Салтыковым после закрытия «От. зап.» и держал его в постоянной панике уже до самой смерти. Белоголовый считает этот страх преувеличенным и относит его к числу болезненных признаков терзавшего Салтыкова недуга. Однако данные тогдашнего книжного рынка позволяют видеть ясно, что великий сатирик имел полное основание к той скептической мнительности относительно своей популярности среди читательских масс, что казалась в нем болезненно Белоголовому и «просто смешною» А. Н. Островскому, его посреднику, в неудачных переговорах с книгоиздателем Вольфом. (См. С. Ф. Либровича «На книжном посту»<sup>20</sup>.) При всем старании Либровича выставить в своих воспоминаниях Вольфа в наиболее симпатичном и привлека-

тельном виде, слишком заметно, что этот король русского книжного рынка держал писателей в ежовых рукавицах и черном теле. Другие издатели, мельче Вольфа, конечно, были еще хуже и прижимистее. Гордый и строптивый Салтыков долго не хотел иметь с ними никакого дела и издавал свои книги сам. Но зато и «жаловался, что книги его не расходятся», и «высказывал горькие упреки по адресу книгопродавцев и книжных приказчиков в том, что они замалчивают его книги». — «Поставьте их хоть в витрине, на виду, чтобы глаза мозолили публике, а то совсем их забудут, — просил Щедрин».

Либрович приписывает это беспокойство писателя авторской скромности Салтыкова. Но в действительности он, как приказчик книжного магазина, лучше всякого другого должен был знать, что Салтыков протестовал против самого обычного и самого действительного средства книгопродавцев к бойкоту независимых и неугодливых писателей. Книга, в которой магазин не заинтересован, исчезает из глаз публики, заслоненная усердно рекламируемыми и подсовываемыми собственными изданиями магазина. Этот бойкотирующий заслон претерпели на себе горьким опытом не маленькие какие-либо писатели, но Салтыков, Лев Толстой, Достоевский, Суворин и др. Двое последних, как известно, завели свои собственные книжные магазины — именно с целью раскрепощения себя самих и дружественных им писателей от кабалы у книгоиздателей-кулаков. Самостоятельное издательство сочинений Толстого, — за право которого Вольф в 80-х годах предлагал только 4000 рублей — выросло в руках его супруги, С. А. Толстой, в колоссальное коммерческое дело чуть не мирового размера. А Салтыков упорно носился с идеей «литературных офеней» — интеллигентного комиссионерства, которое приближало бы каждую издаваемую книгу к читательским массам, в обход издательского посредничества. Салтыков был достаточно состоятельным человеком, чтобы выдержать характер до конца и не закабалить себя за гроши, и первое полное собрание его сочинений издано было им самим, хотя вышло уже после его смерти (1889). Но скольких же колебаний, мук и тревог стоил больному старому писателю этот опасный риск и как должен был он сократить дни Салтыкова, — при его-то нервической мнительности, при его-то угрюмом недоверии к убежденности и постоянству русской интеллигенции!.. Во время переговоров его с Вольфом, в магазин вошла какая-то нарядная дама, спросила нужную ей книгу, но, узнав цену, ужаснулась и ушла. — «Вот подите тут с такой публикой рассуждать! — злобно заметил Щедрин. — Книги им дороги, а, наверно, рядом, за тряпки, заплатила четвертную — и показалось вовсе не дорого» (Либрович).

Издание сочинений Салтыкова, к счастью, не оправдало опасений автора: оно было буквально расхватано читающей публикой... Но — как знать? — не помогла ли тут, в печальном качестве посмертной «рекламы», непосредственная близость издания к недавней пред тем кончине великого человека, о котором уж воистину можно было сказать могучими стихами его старого друга и сотоварища Некрасова:

Только труп его увидя,  
Как много сделал он, поймут,  
И как любил он, ненавидя!

А между тем, как ему, — и именно ему больше, чем кому либо другому в его литературном поколении, — нужен был живой отклик общества, символ чуткости читательской массы! В «Мелочах жизни» он сделал подробную классификацию русского «читателя»: «читатель-ненавистник», «солидный читатель», «читатель-простец» и, наконец, — редкая птица! — «читатель-друг». Минуты общения с этим последним, для Салтыкова, «самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем»... Н. К. Михайловский рассказывает о впечатлении, которое произвела на Салтыкова одна из встреч с такою редкостью — письмо от «читателя-друга» по поводу очерка «Имярек» — этой мрачайшей личной исповеди великого сатирика... «Слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... Автор письма называл его “святым стариком”, доказывал, что не крохи и мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам». Но одинокая ласточка весны не делает, а, в общем-то, — когда Салтыков, доведенный до отчаяния, взывал как к последней опоре и надежде: — «Русский читатель, защити!» («Похороны») — вопль его остался, воистину, гласом вопиющего в пустыне. И горьким предсмертным словом заключил он свои отношения к читателю в угрюмом (после закрытия «Отеч. запис.») письме к Михайловскому:

— О читателе скажу вам, что хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец.

Кисленькое равнодушие трусливого общества как бы заживо погребло Салтыкова. А между тем он был еще могуч и полон кипящей творческой мысли, как в молодые годы, даже больше, потому что стал зреее и мудрее, шире глядел, смелее дерзал. Куда было девать это творческое пламя? В журналах ему всюду были рады, но и всюду его боялись, как слона, входящего в фарфоровую лавку. Он попро-

бывал соединиться с мещански-либеральной «Неделею», но здесь ее осторожный редактор-издатель Гайдебуров вздумал не только цензурировать, но и «редактировать» Салтыкова. С пылкой готовностью открыл ему страницы московской «Русской мысли» благороднейший идеалист 40-х годов, престарелый С. А. Юрьев, но московская цензура не хотела и слышать о Салтыкове. Наконец, он нашел себе сносный приют в петербургском «Вестнике Европы» Стасюлевича, а затем удалось отвоевать для себя сотрудничество Салтыкова и московским «Русским ведомостям». На страницах журнала он успел дать еще великолепные циклы «Пестрых писем» (1884–1886), «Мелочей жизни» (1886–1887) и начало автобиографической «Пошехонской старины» (1887–1889), на столбцах газеты — ряд «Сказок». Талант был жив и цвел полным цветом, но все-таки чувствовал себя в гостях у любезных и почтительных людей, а не у себя дома.

«Нет ничего ужаснее, — тоскует Салтыков в письме к Н. Н. Михайловскому от 14 февраля 1885 года, — как чувствовать себя иностранцем в журнале, в котором участвуешь. А я именно нахожусь в этом положении...»

«Закрытие “Отеч. зап.” и болезнь сына (скарлатина) окончательно сломили меня, — писал он в своей неконченной “Оправдательной записке”. — Недуг меня охватил со всех сторон и сделался главным фактором моей жизни».

Письма к бывшему соредактору, Н. К. Михайловскому, превращаются в какой-то сплошной стон прикованного Прометея, которому коршун — изо дня в день — выклевывает истерзанную печень. «Думаю, что моя песня уже спета и что ни лета мои, ни здоровье не позволяют в этом отношении никакого сомнения. Желаю мирной кончины живота моего, а что она будет непостыдна, — это уж от меня зависит...» «Надо новую дорогу прокладывать, а это и трудно, да и противно... Я человек оконченный. Меня и теперь уже наполовину забыли...» «С тех пор, как у меня душу запечатали, нет ни охоты, ни повода работать. Вся суть заключалась в непрерывном общении с читателем. Для русского литературного деятеля это, покамест, единственная подстрекающая сила...» «Провидение послало мне ужасную старость. Я на свете любил только одну особу — читателя, и его теперь у меня отняли...» «Меня дрожь пробирает ввиду предстоящего бесплодия моей жизни, и вся надежда на то, что скоро предстоит провести черту...»

Впечатления, извне врывавшиеся в это угрюмое существование, омрачали его еще больше. Салтыков и сам указывал главную причину своих недугов — «мучительную восприимчивость, с которою я всегда относился к современности». Достаточно было какой-нибудь

гнушной выходки в редакционной прессе, чтобы уложить издерганного нервами Салтыкова совсем больным в постель. А каждая болезнь теперь ставила его уже на край отверстой могилы.

«Вот вы не читаете “Московские ведомости”, — пишет он своему врачу Белоголовому 15 мая 1882 года, — а мы читаем и узнаем отсюда, что у нас не только есть права, но и более того — обязанности, и даже политические... \* Вот как прочтешь такую вещь и знаешь, какой она эффект произведет, так и думается: как будто бы хорошо ничего этого не читать, не слышать и даже букв этих не видеть. Сердечно вам говорю, что когда я прочитал эту передовую статью, то со мной почти припадок сделался — не злобы, а безвыходного горя и отчаяния».

Смерти он, по-прежнему, не только не боялся, но, переживая подобные настроения, даже желал и призывал ее, сокрушаясь только, зачем «умирание происходит с такою мучительною медленностью». В году смертей Тургенева и Новодворского (1882) он писал Белоголовому: «Пожалуй, было бы и не худо попасть в очередь, да хлопот и мученья много. Вы, господа медики, все стараетесь *продлить*, а по нынешнему времени лучше и целесообразнее было бы *сократить* и устранить хлопоты... Именно только хлопот и мученья много, а то, пожалуй, было бы даже лучше какой-нибудь хорошенький тифец заполучить...» По словам Белоголового, не раз подумывал он и о самоубийстве.

Эта жизнь-агония, это предсмертное барахтание тянулись почти десятилетие, все нарастая и усиливаясь во второй его половине, после 1884 года. Чуть не ежедневное ожидание последнего конца, писание завещаний, обдумывание будущих похорон, глотанье лекарств, почти психопатическая слезка за больным организмом своим, неукротимая страсть к совещаниям с врачами, мучительное кочевание по курортам и — работа, работа, работа! Единственным счастливым условием этого мученического бытия оставалась удивительная свежесть головы, все еще чудесно творческой, несмотря на то, что начиналось уже размягчение мозга.

---

\* Одна из наглейших по риторическому холопству, — под обычным видом гордой гражданской самостоятельности убежденного, дескать, борца за государственную идею самодержавия, — которою отличился пресловутый «диктатор» печати, М. Н. Катков. Смысл статьи был тот, что напрасно, мол, европейские народы гордятся своими конституциями: пусть они имеют политические права, — мы, русские, имеем кое-что побольше их: мы имеем не только права, но и обязанности.

Летом 1888 года Салтыков дописал «Пошехонскую старину»; с большим, однако, сожалением, что усталость моральная и физическая впервые заставила его «скомкать конец», что и справедливо. Состояние Салтыкова было уже так ужасно, он чувствовал себя настолько в тягость своим окружающим, а их — в тягость себе, что, бросаясь от одного отчаянного плана к другому, еще более фантастическому, серьезно думал просить власти об учреждении над собою опеки. Его остановила только мысль, что для этого он должен быть освидетельствован и признан сумасшедшим. Дело к тому несомненно и шло, как показало посмертное вскрытие, обнаружившее перерождение артерий на основании мозга. Но смерть сжалилась над великим писателем — и до последнего конца не отняла у него главного его сокровища, — дозволила его уму догореть неомраченным. В апреле 1889 года Салтыкову, после новой тяжелой болезни, перенесенной под тщательным наблюдением С. П. Боткина и Н. А. Белоголового, стало как будто несколько лучше. Он попробовал опять взяться за перо и набросал последнюю свою страницу — знаменитое трагическое начало «Забытых слов»...

Чем должна была огласить сонный мир опустившихся «восьмидесятников» эта лебединая песня, мы знаем только из рассказа Н. К. Михайловского. «Были, знаете, слова, — говорил ему Салтыков незадолго до смерти, — были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...» Необходимее, чем когда-либо, была для тогдашнего русского общества задуманная сатириком новая проповедь, но выслушать ее нам не было суждено. Долго щадившая больного писателя, долго игравшая с ним отсрочками, словно кошка с мышью, Смерть теперь уже как бы соскучилась ждать столь долго ускользавшую от нее жертву — и 28 апреля 1889 года петербургские газеты огласили печальную весть о кончине М. Е. Салтыкова-Щедрина, последовавшей накануне от мозгового удара.

